

# СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

## СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



N. C. ...



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

СОБРАНИЕ  
СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА ★ 1926 ★ ЛЕНИНГРАД

Музей Сергея Есенина  
ГЧК - 662  
А071-158



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

СОБРАНИЕ  
СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МУК "РЯЗАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

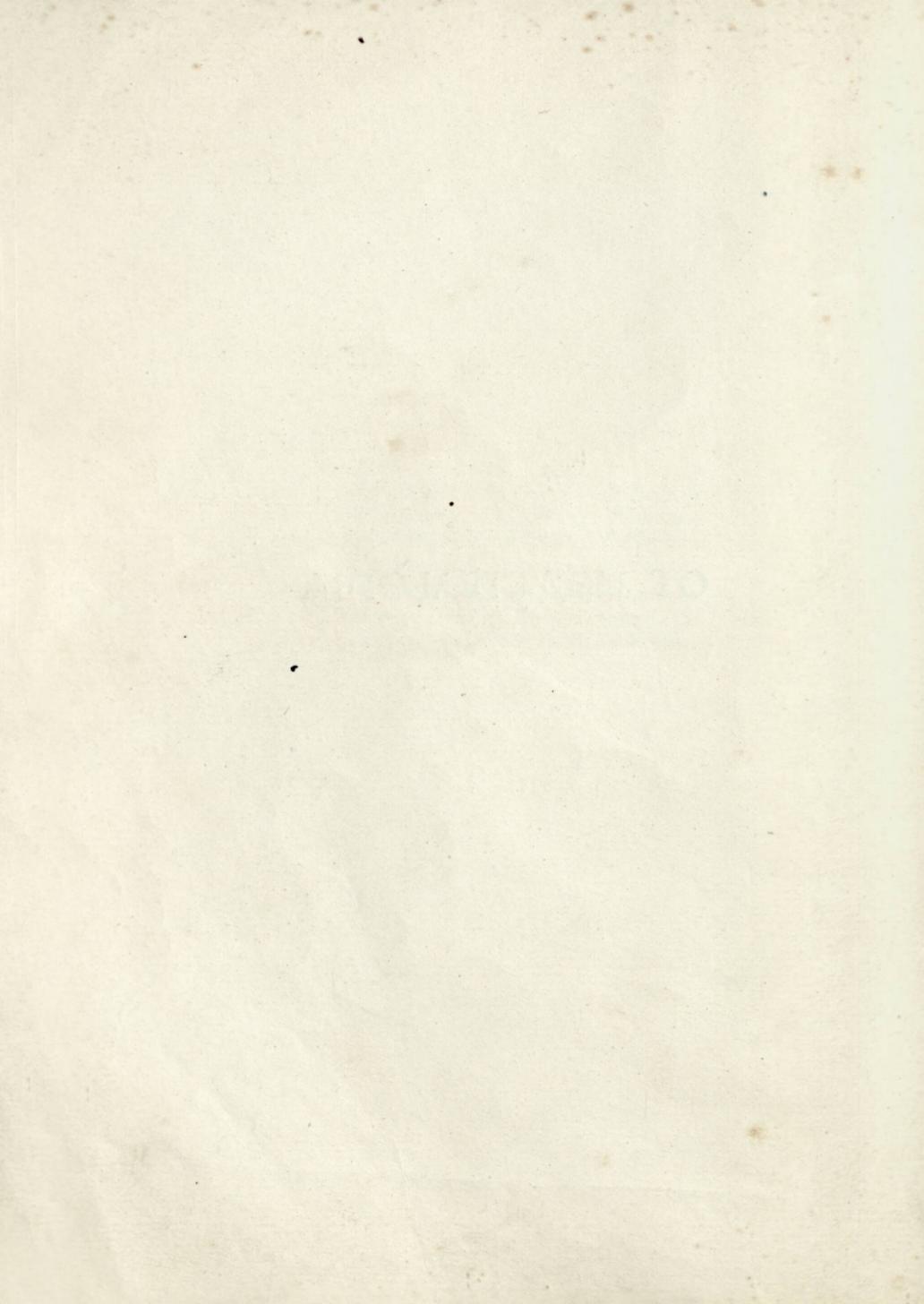
МУЗЕЙ С.А. ЕСЕНИНА"

ГЧК - 662  
А071-158

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА ★ 1926 ★ ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в 1-й Образцовой  
типографии Госиздата (Москва,  
Пятницкая, 71) в колич. 10.000 экз.  
Гиз № 15559. Главлит № 60071.  
Обложка Б. Б. Титова, гравирована  
на дереве Ф. П. Денисовским. Тех-  
ническая редакция В. В. Гольцева.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА



18/5-1945

Настоящее „Собрание стихотворений“ Сергея Есенина задумано было Государственным Издательством в июне 1925 г. Тогда же поэту было предложено сделать отбор его стихотворений для трехтомного издания. Есенин горячо принялся за работу и вскоре доставил стихотворения, которые считал наиболее художественно законченными и удавшимися. Примерно около трети всего написанного им за десятилетнюю поэтическую деятельность Есенин не включил в „Собрание“. В изъятых стихотворениях были и ранние и позднейшие произведения. В осенние месяцы 1925 года поэт производил над ними творческую работу и неоднократно присоединял к „Собранию“ как новые стихотворения, печатавшиеся в периодической печати, так и старые, заново проработанные и видоизмененные. Государственное Издательство, желая представить творчество Есенина наиболее полно и всесторонне, всячески поощряло эту

работу, даже вызывало ее, идя на задержку набора, предоставляя возможность поэту по нескольку раз перепланировать издание.

В основу издания был положен принцип деления стихотворений по родам и видам поэзии. Таким образом в первый том вошли одни лирические стихотворения, во второй — небольшие поэмы, в третий — более крупные поэмы.

Кончина Сергея Александровича Есенина, последовавшая 28 декабря 1925 года в Ленинграде, поставила перед Государственным Издательством вопрос уже об издании всего написанного поэтом. В целях увековечения памяти одного из замечательнейших русских поэтов последнего десятилетия Государственное Издательство решило развернуть собрание „избранных стихотворений“ в полное. Вслед за первыми тремя томами выйдет четвертый, дополнительный том, в который будут включены все стихотворения, оставшиеся в рукописях, а также стихотворения, не вошедшие в три предыдущих тома, опубликованная и находящаяся в рукописном виде проза, заметки, статьи и т. д.

Издание, подготовленное самим поэтом, в пределах первых трех томов, представляет собою последнюю редакцию текста почти трех четвертей всех стихотворений Есенина.

Государственное Издательство, выпуская издание без наблюдения за ним самого поэта, оставило в полной неприкосновенности все грамматические особенности языка Сергея Есенина, нередко идущие вразрез с установившимися правилами. Но поскольку поэт почти не следил за пунктуацией стихов, она сделана в общепринятом порядке. Некоторые хронологические даты создания отдельных стихотворений, проставленные Есениным, также сохранены в неприкосновенности, хотя нет твердой уверенности в их точности, поскольку иногда сомневался в них и сам поэт. В будущей работе над текстами стихотворений Есенина по рукописям эти сомнительные даты легко могут быть исправлены.

Среди крупных произведений Сергея Есенина, до сих пор не опубликованных, в третьем томе будет помещена поэма „Страна негодяев“.

Изданию предпосланы статьи А. К. Воронского, освещающие творческий путь поэта, и автобиография, написанная Есениным специально для настоящего издания в октябре 1925 г.

В последнем томе будет дан указатель стихотворений.



О Б О Т О Ш Е Д Ш Е М

MEMORANDUM

### Росстани:

Краткая весть во всей своей жуткой нелепости и неотвратимости, вокзальный перрон, властный лязг и уверенное бездушное громохание, дымовый дык паровоза, запах машинного масла и нефти, небольшой вагон в конце поездного состава, почти детский коричневый под дуб гроб, качающийся на руках поверх густых, плотных и нестройных рядов, мимо застывшей в немом спокойствии „стальной конницы“ — вот победитель и вот побежденный, — повитый траурным зал, свинцовое с прозеленью лицо, церковное и скорбное, у переносья и под глазом ожоги от трубы парового отопления — последнее целование, — когда-то непокорные, цвета спелой ржи волосы, потерявшие свой мягкий и нежный блеск, постно и гладко зачесанные назад, и вместо сини

глаз ушедшие вглубь слепые впадины, погребальное шествие по рассолодевшим от оттепели грязным улицам, сырая и рыхлая земля, плач, поспешная привычная работа лопатами, — все непреложно и замкнуто, и мы говорим — он был.

На московских изогнутых улицах  
Умереть, знать, судил мне бог.

Он был истинным поэтом, ибо вмещал в себе чувства и мысли, которые можно было выразить лишь на поэтическом языке стиха и песни. Это понимали. В Баку за несколько месяцев до своей смерти на дружеской вечеринке Есенин читал персидские стихи. Среди других их слушал тюркский собиратель и исполнитель народных песен старик Джабар. У него было иссеченное морщинами-шрамами лицо, он пел таким высоким голосом, что прижимал к щеке ладонь левой руки, а песни его были древни, как горы Кавказа, фатальны и безотрадны своей восточной тоской и печалью. Он ни слова не знал по-русски. Он спокойно и бесстрастно смотрел на поэта и только шевелил в ритм стиха сухими губами. Когда Есенин окончил чтение, Джабар поднялся и сказал по-тюркски, — как отец говорит сыну: „Я — старик. Тридцать пять лет я собираю и пою песни моего народа. Я поклоняюсь пророку, но больше

пророка я поклоняюсь поэту: он открывает всегда новое, неведомое и недоступное пока многим. Я не понимаю, что ты читал нам, но я почувствовал и узнал, что ты большой, очень большой поэт. Прими от старика-поэта преклонение пред высоким даром твоим“.

Стихи и песни Есенина были хорошо известны читающей России. Даже те, кому наиболее чуждыми казались его основные поэтические настроения, не могли равнодушно отнестись к его творчеству: его стихи доходили, цеплялись за сердце и находили отклик у каждого по-своему. Бездушного отношения к Есенину, самого тяжкого для всякого поэта, не было ни у кого. Крестьянин и рабочий-самоучка, ценившие поэзию, рабфаковец и рабкоровец — литераторы, искусенные писатели и начинающие поэты читали и знали Есенина и ждали его очередных стихов. Широту охвата его поэзии подчеркнули и похороны: они объединили в большой и пестрой толпе людей, в иные моменты не связанных сбычке друг с другом.



Есенин принадлежал к группе писателей и поэтов, пришедших в нашу отечественную литературу после первых бурных революционных всплесков пятого года. Есенин, Клюев, Клычков, Орешин, Пришвин,

Иван Вольнов, Чапыгин, Касаткин — люди одного художественного направления. По-своему, по-особому, каждый на свой лад и образец они отразили новые сдвиги в нашем крестьянстве и в нашей литературной общественности. Их подняла волна растущего крестьянского самосознания, самостоятельности, требовательности и желания утвердить свои права и законы и, наконец, волна культурного подъема в крестьянстве. Они принесли с собой в литературу чистоту, цветистость, узорность и меткость народного языка и говора, материальность и выразительность образов, взятых из деревенского обихода, с поля, из перелесков, от большаков, проселочных дорог. Наш интеллигентский, отвлеченный небрежный язык разночинца, оставив позади сладковатую бальмонтовщину, они обогатили и приукрасили, черпая полновесными пригоршнями рудометное словесное золото из богатейшей народной сокровищницы. Но прежде всего они дали нам почувствовать дремучую, медвежью, аржаную, овинную и лесную Русь. О скирдах и снопах, о васильках и о поле, об оврагах и перелесках, о лесах и горах наших, о буланных и пеструхах писали и раньше, но писали иначе. Наши крестьянствующие поэты и писатели клюевской и есенинской повадки сумели передать нам самую плоть и кровь старой деревен-

ской Руси, ее аромат, ее особый запах. Вспомните у Есенина наудачу его черемуху и березку, кудлатых щенков, кленовую осеннюю медь, тальянку и венку, осеннее олово, ссутулившийся дом, сад в голубых накрапах, кровь ягод рябины, отцветевшую по траве сумерок зари косу, золотую дремотную Азию, опочившую на куполах, жидкой позолотой заката обрызганные поля, лебяжью шею ржи, розовую водь, — все это — во плоти, материально осязаемо, это — сгусток давно нам знакомого и родного. Эту Русь он любил и чувствовал.

Но даже и тогда,  
Когда на всей планете  
Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть,  
Я буду воспевать всем существом в поэте  
Шестую часть земли  
Названьем кратким „Русь“.

Он был национален и умел писать только о российском. Недаром поездка в Европу и в Америку прошла бесследно для поэтического творчества Есенина. Его персидские стихи пахнут больше васильками, рожью и полем, чем Востоком. Есенин сумел свою любовь к родимому краю передать в стихе простым, доступном и захватывающем своей искренностью, напряжением и лиризмом. Это родное, российское поэт обвеял осенней равнинной грустью,

печалью о прошлом, бродяжьей рѳздалью кабаков, тоской о милой, предсмертными томлениями и предчувствиями. И если теперь в нашей молодой советской литературе у целых групп поэтической молодежи мы находим почти вещное чувство нашей природы, орнамент, примитив, склонность к народному сказу в прозе, к выпуклой образности и изобразительности, тягу к деревне, к простоте и ясности в поэзии, которые особенно усиливаются за последнее время, то нетрудно заметить, что эта художественная линия в значительной степени идет от названной группы писателей, в среде которых Есенин в поэзии занял по праву первое место. Обратной стороной является у этой группы — правда, не у всех — узость и ограниченность с дурным привкусом шовинизма и с превозношением нашего „расейского“: лаптем щи хлебать. У Есенина это нашло выражение, впрочем, не столько в стихах, сколько в нетрезвом поведении.

★

Есенин не был крестьянским поэтом, тем более он не был выразителем чувств и настроений передового революционного крестьянства наших лет, хотя он и отразил некоторые его сдвиги. Первый цикл его стихов был деревенски-идиллический, окрашенный церковностью. Затем пришел период „Ино

нии". В „Инонии“ сквозь религиозную, мистическую шелуху просвечивает вполне реалистическая картина своеобразного мужицкого рая, где нет ни чиновников, ни податей, где деревни тучнеют от колосистого урожая, а избы крыты тесом, где нет стальных и железных гостей, от которых поэт ждет только гибели. „Инония“ отразила чаяния середняцкого крестьянства, но чаяния очень узкие, ибо в них сочеталась ненависть к барскому и господскому, тяга к земле с оглядкой назад — к патриархальному укладу. Сам Есенин мужицкую „Инонию“ не смог увязать с „Инонией“ современного нашего пролетария, у которого „железный гость“ и Америка, дисциплина, политический расчет и такт соединяются с широким русским размахом, с революционной дерзостью, с ширью и необъятностью благоуханных родных полей. Среда, в которую первоначально попал поэт, Гиппиус, Мережковский, интеллигентская богема, левые и правые эсеры, — несколько не содействовали тому, чтобы он смог своевременно обрести этот стык. Но Есенин был талантлив и умен, и в ходе нашей революции ему нетрудно было убедиться, что его „Инонию“, „мир таинственный и древний“, ждет гибель, что железный гость шествует победной поступью и что революция совсем не похожа на то невиданное сверхъестественное преобразование, о котором

ему мечталось. Потом пришла Америка и Европа. Возвратившись, Есенин не раз говаривал своим близким, что русские деревни после Америки представляются ему жалкими лишаеми на земле, а в своей поэме „Страна негодяев“ он сетует, что в России так много храмов и так мало уборных. Вера в полудедовскую „Инонию“ была расшатана, а новая поэту была чужда. Здесь истоки и личной, и общественной, и художественной драмы Есенина. Он повис в пустоте. Отсюда — прямой путь в „Москву кабацкую“.

В лесах есть поляны. Трава на них по-особому свежа и сочна. Они манят отдохнуть, осмотреться, но ступишь ногой — и темная, вонючая, гнилая густая жижа раскрывает недра свои, всасывает и затягивает, — и человек гибнет. Такие поляны называются чарусами. От такой городской чарусы погиб Есенин. Он увидел и отметил себе гибель дедовской старины, но он слишком любил ее, он искал путь-дорогу к новому Китежу, но попал в чарусу. Она жадно и быстро поглотила его. Номера гостиниц, рестораны и кабаки, „Стойло пегаса“, „бесконечные пьяные ночи“, легкость „побед“, непрочные содружества, мелькание людей, точно в калейдоскопе, угар и гам кабаков и притонов, расточительные дни одни за другими, одни за другими. Он расточал единственный, несметный и

неповторимый дар, данный ему природой. Наверное, известное значение имела и легкость, с какой пришла слава к поэту. Его поэтический взлет был головокружителен. Есенин не знал препятствий, у него не было полосы, когда наступают перебои, томительные паузы, когда поэта забывают, оставляют в тени либо развенчивают. Путь его был победен, удача не покидала его, ему все давалось легко. Неудивительно, что он так легко, безрассудно, как мот, отнесся к своему удивительному таланту. На наших глазах преображалось это прекрасное лицо отрока и папушка: мокли чудесные синие очи, краснели и припухали веки, серело золото волос, дрябла кожа, тоньше становилась шея, хриплым делался голос, и первой смертной тенью ложилась на щеках немудрая городская косметика, такая ненужная и незаконная на этом лице. И вот уже последний цикл стихов — и развязка.

Теперь, после самоубийства поэта стихи последнего периода звучат по-особому. Насильственная смерть подвела им новую черту, влила в них новый, роковой смысл. Раньше в них можно было усматривать следы сюжетного приема, художественную условность опытного мастера, всегда законную. Сейчас они потрясают как подлинный документ, строки налились и сочатся кровью, напоены смертной тоской

и томлением, крестной мукой, одиночеством и предчувствием гибели. Эстетика отходит на задний план, и чувствуешь, как гробовая дрожь сотрясает тело поэта. И когда он бросает поразительные по силе слова: „ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза“, мы видим не позу нового Германа, а веревку от чемодана и бритву в дрожащих руках поэта у последнего порога. И как-то странно отвечать на досужие вопросы, почему повесился Сергей Есенин. В стихах последнего времени поэт всенародно, с крайней прямоотой, с обнаженностью и искренностью отвечает на это „почему“ и предупреждает о своем конце. Из этой предсмертной исповеди видно, как поэт заживо оказался замурованным в глухом склепе: „полюбил я носить в легком теле тихий свет и покой мертвеца“. Вокруг поэта нет ни друзей, ни любимых, он — чужестранец даже в родном краю, милая отцвела черемухой и никогда не встретится. Он думает только о себе, индивидуализм дошел до крайности. Поэт болен, он у могилы. В известной своей части стихи этого времени являются уже материалом для психиатра и клиники: такова в особенности его поэма о „Черном человеке“. Не всегда поэзия — лишь прекрасная художественная условность; слишком часто сквозь черную стройность букв проступает кровь, видны расширенные от ужаса глаза

и в ритме стиха слышится предсмертный крик. За условностью, за приемом, за техникой и обработкой материала у больших художников должны быть правдивость, большая сила и значительность чувств. Таким художником был Сергей Есенин.

Но даже и в этих смертных стихах поэт сохранил любовь и преклонение пред родным краем, примиренность с жизнью и благодарность ей за ее земные дары.

Ну, что ж, любимые, ну, что ж!  
Я видел вас и видел землю,  
И эту гробовую дрожь,  
Как ласку новую, приемлю.

Он слишком любил все земное.

Слишком я любил на этом свете  
Все, что душу облакает в плоть.  
Мир осинам, что, раскинув ветви,  
Загляделись в розовую воду!



Есть в Есенине еще какие-то сложные и противоречивые начала, сложные сплетения чувств и настроений от прежних, древних времен, от предков, не укладывающиеся в цепь общественно-психологических фактов более позднего периода. Биография поэта мало известна: по причинам, ему только ведо-

мым, он скрывал и прятал ее. Дело будущего — осветить его жизнь и дать более богатый и тщательно сверенный материал. Но мы знаем, что уже с самого начала поэтического творчества у Есенина отчетливо наметились некоторые основные настроения, упорно повторявшиеся в разных вариациях до конца дней его. Грусть-тоска по ушедшей, рано увянувшей, угасшей и отзвеневшей молодости, буслаевская удаль и бесшабашность, хулиганство и смирение, чувство одиночества, примиренность и буйство, предчувствие своей гибели, — все то, что с наибольшей силой выражено в „Москве кабацкой“ и в предсмертных стихах, мы находим и в первых, юношеских вещах поэта. Есенин с этой стороны чрезвычайно цельный поэт, хотя и неширокого диапазона: он несколько однообразен. Подробная биография установит, какие особые, индивидуальные причины заставили поэта от юности томиться темными предчувствиями, тоской и грустью и совмещать в себе лирическую незлобивость с кабацкой буслаевщиной. Но эти черты и особенности издревле свойственны русскому характеру. Это то, что в просторечьи именуется „широкой русской натурой“. Эта натура уходит в глубь веков, в глубь нашей истории, она сродни нашему юродству. Стык Европы и Азии, татарины, вековое рабство и повольщина, ушкуйни-

чество и колонизаторство, искание новых „праведных“ мест, стремление уйти, убежать из-под начала чиновников и крепостников, стихийное повстанчество и неспособность к организованной, систематической борьбе, наконец, общая неорганизованность, аморфность этого русского характера в прошлом — это и подобное питали такую „широту натуры“. Наш век, наша эпоха со сталью, железом и бетоном, с рассчитанной, взвешенной борьбой классов, с огромными городами, с каменными шоссе и железными дорогами, с дифференциацией характеров отодвигают в прошлое „широту натуры“. По-иному, по-особому преобразается, переделывается, переплавляется и утилизируется эта „широта“: размах соединяется с американизмом, удаль с беззаветным энтузиазмом, направляемым точной и крепкой рукой. Есенину это оказалось не под силу, ибо в нем старая широта наша наиболее резкое и сильное воплощение. Он увидел, как гибнет на глазах дорогое, и погиб сам. Общественный смысл его гибели в этом, но он с исключительным даром отразил эти национальные особенности нашего склада, и в этом огромное значение его поэзии. Это останется, как останется трагическая коллизия в нем прошлого и настоящего.



Поэзия Есенина поражает своей обнаженной непосредственностью и напряжением. Он писал нутром, всем своим существом. Он был расточителен и в своем поэтическом творчестве, в том, как он творил. Он писал только о том, что глубоко волновало и трогало его. Думается, что и бесшабашность разгула и беспорядочность жизни его, по мысли поэта, отчасти служили той же поэзии: таким путем он старался держаться на уровне нужного ему подъема.

В том, что Есенин писал от нутра, было много положительного, но здесь же таилась и прямая опасность. Опасность была в том, что творчество от одного нутра, без надлежащей культуры, без упорной работы над собой брало непомерно много сил, и достигнутое окупалось слишком дорогой ценой. Поэзия становилась злой чародейкой и волшебницей. Подобно красавице-ведьме из известной повести Гоголя, она поражала и приковывала поэта своей страшной, сверкающей красотой, заставляла его замыкаться в узкий круг, чтобы отдать его „Вию“, вампиром она пила из поэта лучшие соки жизни и ничего не оставляла для других сторон его жизни. Есенин не раз в последнее время жаловался, что его ничто не интересуется, что у него нет ни друзей

ни близких: „остались одни лишь стихи“. „Средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству“. Таким царством для него была поэзия. В „Руси советской“ поэт чувствует себя иностранцем в родной деревне, — он здесь не нужен, он готов все отдать, со всем примириться, „но только лиры милсй не отдам“. У Есенина не только ум ушел в талант, ушли в талант его лучшие чувства и инстинкты. В нем художник поработил, поглотил человека. Поэзия обобрала его, ибо он творил непосредственным существом своим, тратя и отдавая ей в дар всего себя. Его судьба — предупреждение многим и многим современным молодым художникам, кои тоже пытаются держаться на одном голом нутре, на первоначально данных и заложенных природой дарах. Они забывают, как забывал и Есенин, что дары эти, подобно руде, требуют обработки и отшлифовки, требуют умелого и рачительного распоряжения ими. Нам недостает культуры. Оттого и получается, что так часто вянут и выдыхаются наши таланты после первых же напечатанных вещей. У настоящего художника всегда одна основная тема, она довлеет над ним. Но надо уметь варьировать ее, облекать ее в новые формы и одежды. Такое умение дается культурой, учобой, экономией сил. Многие этого не понимают; они „выкладывают“ себя в первой, во

второй вещи, а дальше наступает длительный и часто безнадежный кризис. Есенин умел преобразовать и по-иному выразить свою любимую тему, он был одарен сверх меры, но он тоже старался обойтись одним лишь „нутром“: он не обогащал себя, не учился, не соразмерял. Его конец показал, чего это ему стоило.



Есенин скучал. Он ждал от русской революции чуда-чудесного. Он надеялся, что в огненной купели ее по-новому родится мир. Он подошел к революции с мистикой и с отвлеченным бунтарством. А революция шла кривыми, окольными путями-дорогами. Революция породила нэп, она потребовала мелкой культурнической работы. Есенин заскучал сильнее и глубже. Он увидел серые будни, неудачи и старался забыться в гульбе.

Что-то всеми навеки утрачено.  
Май мой синий! Июнь голубой!  
Не с того ль так чадит мертвячиной  
Над пропащею этой гульбой!..

Не случайно обострение его тоски, не случайна его смерть. Немало искренних, чутких, горячих, талантливых людей надломилось в эти переходные дни, будучи не в состоянии приспособиться к новой —

сложной и пестрой обстановке. И уж слишком торопливо, слишком молчаливо проходим мы мимо печальных и трагических фактов, хотя они назойливо лезут и стучатся к нам. Нужно глубже вдуматься, выяснить причины этих случаев, надобно усилить и усугубить борьбу с обыденщиной, с будничной докукой во имя жизни, крепкой, бодрой и деятельной. Необходимо по-серьезному и открыто вложить персты свои в раны нашего быта, а не болтать об этом, пугаясь первых настоящих попыток в этом направлении. В наших разговорах об оптимизме, по правде говоря, много казенного, подтасованного. Мы не умеем показать во весь рост добытое нами в труде и в борьбе, не умеем часто рассказать о наших победах так, чтобы это заражало, трогало и поднимало над буднями, осмысливало их, и подменяем это свое неумение показными, барабанными реляциями.

Скажут: Есенин — человек прошлого, его судьба не показательна. Неверно это. Есенин был необычайно одарен, он был молод, он жил среди нас, он печатался в наших органах. И разве его известность, его популярность, то, что его читали очень обширные читательские массы, — разве это не имеет значения? И разве в среде молодежи, даже в среде более зрелых партийцев, мы не встречаемся с на-

строениями и с фактами, связанными с именем Есенина? Подумать надо побольше над концом поэта и сделать выводы. Ведь погиб поэт единственный и неповторимый.

★

Особое внимание следует обратить на современную литературную среду. Тяжко и трудно жил поэт за последние годы. Еще более ужасна его смерть. Но хуже то, что в литературной среде у нас есть прямые кандидаты на есенинский конец. Называют даже имена. Смерть Есенина — новое и мрачнейшее предупреждение. Наши болезненные явления среди писателей пора изживать последовательно, твердо и решительно. Представителям Советской власти и нашей партии, влияющим на литературную действительность, следует учесть и понять особенности этой среды, отличительные черты художественного слова, трудности, стоящие на пути, — но прежде всего за оздоровительную работу надо приняться самим братьям-писателям. Иначе веревка и бритва, браунинг и яд, кабаки и притоны станут нормальным бытовым явлением.

Одно недоразумение требуется рассеять незамедлительно. Раздаются голоса, что в смерти поэта

повинны не то коммунисты, не то Советская власть, сузившие его творческий порыв. Со всей решительностью мы отмечаем подобные утверждения. Что и говорить, у нас есть люди, и вправду склонные требовать от художника переложения злободневных переживаний на вирши, не считаясь ни с характером таланта, ни с внутренним содержанием писателя, ни с задачами, которые он ставит себе. Такие есть. Но руководящая линия в области художества со стороны коммунистической партии далека от такой вульгарщины и примитивности. Тем более неправильны упреки в отношении к Есенину. Мы утверждаем, что в литературном наследстве поэта, и пока не дошедшем до читателя, нет вещей, отвергнутых и залежавшихся по обстоятельствам политического характера. Есенин пользовался исключительным вниманием, любовью и почитанием. Не в обиду, не в упрек и не в осуждение покойному, а в утверждение одной лишь правды будет сказано: из года в год сквозь пальцы смотрели на такие поступки Есенина, которые для других никогда не прошли бы бесследно. Речь идет об его скандалах, правда, в пьяном, т.-е. больном состоянии. Есенину это сходило, так как его берегли и знали, что он — „неповторимый цветок“ и что он болен. За Есениным ухаживали и к нему относились более бережливо, чем он сам

к себе. Повинна эпоха, дух времени, но кто осмелится бросить камень в эту сторону? У трактора сейчас в России не меньше исторических прав, чем у красногривого жеребенка.

★

Образ Есенина двоится. Два человека вели в нем тяжкую, глухую и постоянную тяжбу: юноша с кроткими глазами — более синими, чем небо в тихом осеннем листопаде, в грустной и нежной дрёме, внимательный и сосредоточенный, простой и искренний, чуткий и даже застенчивый, скромный и понимающий, влюбленный в плоть жизни и в наше однообразное полевое раздолье, — и городской гуляка забияка, скандалист и озорник, безрассудный мот и больной человек, менявший позы, нарочито подчеркивающий и заострявший свои противоречия, обнажавший их напоказ, игравший ими для „авантюристических целей в сюжете“. В борьбе этих двух душ в себе пал Есенин. В его поэзии преодолевал все-таки первый человек, и „Черный человек“ чаще всего уступал ему свое место. Может быть, поэзия была ареной, где первый человек наиболее решительно и легко одерживал победы над вторым. Поэтому так и отдавался ей Есенин. Но она же и заставила его платить полновесной ценой.

Таким мы пока храним его в памяти, таким передаем потомству. Дело будущего — изменить и дорисовать его образ.

И еще знаем одно: мы осиротели, мы потеряли поэта великой мощи и таланта. Он многое нам дал, но мы вправе были ждать новых поэтических открытий, новых слов и новых песен.

Но песни пропеты и грубо оборваны самим поэтом.

А. Воронский



О СЕБЕ

© 1911

Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Козьминской волости, в селе Константинове.

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: „Эх! Стерва! Ну, куда ты годишься?“. „Стерва“ у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за под-

стреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а бабушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: „Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!“. Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

Так протекло мое детство. Когда же я подростом, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую я должен был поступить в Московский Учительский Институт. К счастью, этого не случилось.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в „Радунице“.

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Горо-

децкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слышал ни слова. С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба.

В эти же годы я поступил в Университет Шаняевского, где пробыл всего 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> года, и снова уехал в деревню.

Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.

В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.

От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции.

С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались разные духовные стихи. Дед напротив. Был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные невенчанные свадьбы.

После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось разбираться в своем укладе.

В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.

В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину.

Что касается остальных автобиографических сведений, — они в моих стихах.

Сергей Есенин

Октябрь 1925 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ.



Вот уж вечер. Роса  
Блестит на крапиве.  
Я стою у дороги,  
Прислонившись к иве.

От луны свет большой  
Прямо на нашу крышу.  
Где-то песнь соловья  
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,  
Как зимой у печки.  
И березы стоят,  
Как большие свечки.

И вдали за рекой,  
Видно, за опушкой  
Сонный сторож стучит  
Мертвой колотушкой.

1910

Там, где капустные грядки  
Красной водой поливает восход,  
Кленочек маленький матке  
Зеленое вымя сосет.

1910

Поет зима — аукает,  
Мохнатый лес баюкает  
    Стозвоном сосняка.  
Кругом с тоской глубокою  
Плывут в страну далекую  
    Седые облака.

А по двору метелица  
Ковром шелковым стелется.  
    Но больно холодна.  
Воробышки игривые,  
Как детки сиротливые,  
    Прижались у окна.

Озябли пташки малые,  
Голодные, усталые,  
    И жмутся поплотней.

А вьюга с ревом бешеным  
Стучит по ставням свешенным  
И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные  
Под эти вихри снежные  
У мерзлого окна.  
И снится им прекрасная,  
В улыбках солнца, ясная  
Красавица весна.

1910

Под венком лесной ромашки  
Я строгал, чинил челны,  
Уронил кольцо милашки  
В струи пенистой волны.

Лиходейная разлука,  
Как коварная свекровь.  
Унесла колечко щука,  
С ним — милашкину любовь.

Не нашлось мое колечко,  
Я пошел с тоски на луг,  
Мне вдогон смеялась речка:  
— У милашки новый друг.

Не пойду я к хороводу:  
Там смеются надо мной,  
Повенчаюсь в непогоду  
С перезвонною волной.

1911

Темна ноченька, не спится,  
Выйду к речке на лужок.  
Распоясала зарница  
В пенных струях поясок.

На бугре береза-свечка  
В лунных перьях серебра.  
Выходи, мое сердечко,  
Слушать песни гусяра.

Залюбуюсь, загляжусь ли  
На девичью красоту,  
А пойду плясать под гусли,  
Так сорву твою фату.

В терем темный, в лес зеленый,  
На шелковы купыри,  
Уведу тебя под склоны  
Вплоть до маковой зари.

1911

Хороша была Танюша, краше не было в селе,  
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.  
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.  
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:  
— Ты прощай ли, моя радость, я женюсь на другой.  
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса,  
Душегубкою змеею развилась ее коса.

— Ой, ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,  
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу.  
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,  
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.

Не кукушки загрустили — плачет Танина родня,  
На виске у Тани рана от лихого кистеня.  
Алым венчиком кровинки запеклися на челе, —  
Хороша была Танюша, краше не было в селе.

1911

За горами, за желтыми долами  
Протянулась тропа деревень.  
Вижу лес и вечернее полымя  
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами  
Голубеет небесный песок,  
И звенит придорожными травами  
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною  
Дорога мне зеленая ширь,  
Полюбил я тоской журавлиною  
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,  
Как повиснет заря на мосту,  
Ты идешь, моя бедная странница,  
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,  
Жадно слушаешь ты ектенью.  
Помолись перед ликом Спасителя  
За погибшую душу мою.

1916

Опять раскинулся узорно  
Над белым полем багрянец,  
И заливается задорно  
Нижегородский бубенец.

Под затуманенною дымкой  
Ты кажешь девичью красу,  
И треплет ветер под косынкой  
Рыжеволосую косу.

Дуга, раскальваясь, пляшет,  
То выныряя, то пропав.  
Не заморозит, не обманет  
Твой разукрашенный рукав.

Уже давно мне стала сниться  
Полей малиновая ширь,  
Тебе — высокая светлица,  
А мне — далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней  
И легкодымней пелена.  
Я буду ласковый послушник,  
А ты — разгульная жена.

И знаю я, мы оба станем  
Грустить в упругой тишине, —  
Я по тебе в глухом тумане,  
А ты заплачешь обо мне.

Но и поняв, я не приемлю  
Ни тихих ласк, ни глубины.  
Глаза, увидевшие землю,  
В иную землю влюблены.

1916

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.  
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.

Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.  
Я играю на тальяночке про синие глаза.

То не зори в струях озера свой выткали узор,  
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за косогор.

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.  
Пусть послушает красавица прибаски жениха.

1912

## ПОДРАЖАНИЕ ПЕСНЕ

Ты поила коня из горстей в поводу.  
Отражаясь, березы ломались в пруду.

Я смотрел из окошка на синий платок,  
Кудри черные змейно трепал ветерок.

Мне хотелось в мерцании пенистых струй  
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.

Но с лукавой улыбкой, брызнуv на меня,  
Унеслася ты вскачь, удилами звеня.

В пряже солнечных дней время выткало нить...  
Мимо окон тебя понесли хоронить.

И под плач панихид, под кадильный канон,  
Все мне чудился тихий раскованный звон.

1910

Выткался на озере алый свет зари.  
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.  
Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,  
Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую до-пьяна, изомну, как цвет,  
Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,  
Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари.  
Есть тоска веселая в аlostях зари.

1910

Матушка в Купальницу по лесу ходила,  
Босая с подтыками по росе бродила.

Травы ворожбиные ноги ей кололи,  
Плакала родимая в купырях от боли.

Не дознамо печени, судорга схватила,  
Охнула кормилица, тут и породила.

Родился я с песнями в травном одеяле,  
Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,  
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.

Только не по совести счастье наготове,  
Выбираю удалю и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю.  
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

1912

Троицыно утро, утренний канон,  
В роще по березкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,  
В благосте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.  
Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,  
Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон,  
В роще по березкам белый перезвон.

1914

Туча кружево в роще связала,  
Закурился пахучий туман.  
Еду грязной дорогой с вокзала  
Вдалеке от родимых полян.

Лес застыл без печали и шума,  
Виснет темь, как платок, за сосной.  
Сердце гложет плакучая дума...  
Ой, не весел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки-ели,  
И поет мой ямщик на-умяк:  
„Я умру на тюремной постели,  
Похоронят меня кое-как“.

1915

Дымом половодье  
Зализало ил.  
Желтые поводья  
Месяц уронил.

Еду на баркасе,  
Тычусь в берега.  
Церквами у прясел  
Рыжие стога.

Заунывным карком  
В тишину болот  
Черная глухарка  
К всенощной зовет.

Роща синим мраком  
Кроет голытьбу...  
Помолюсь украдкой  
За твою судьбу.

1910

Сыплет черемуха снегом,  
Зелень в цвету и росе.  
В поле, склоняясь к побегам,  
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,  
Пахнет смолистой сосной.  
Ой, вы, луга и дубравы,—  
Я одурманен весной.

Радуют тайные вести,  
Светятся в душу мою.  
Думаю я о невесте,  
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,  
Пойте вы, птахи, в лесу.  
По полю зыбистым бегом  
Пеной я цвет разнесу.

1910

На плетнях висят баранки,  
Хлебной брагой льет теплынь.  
Солнца струганные дранки  
Загораживают синь.

Балаганы, пни и колья,  
Карусельный пересвист.  
От вихлистого приволья  
Гнутся травы, мнется лист.

Дробь копыт и хрип торговок,  
Пьяный пах медовых сот.  
Берегись, коли не ловок:  
Вихорь пылью разметет.

За лещужною сурьюю —  
Бабий крик, как поутру.  
Не твоя ли шаль с каймою  
Зеленеет на ветру?

Ой, удал и многосказен  
Лад веселый на пыжну.  
Запевай, как Стенька Разин  
Утопил свою княжну.

Ты ли, Русь, тропой-дорогой  
Разметала ал наряд?  
Не суди молитвой строгой  
Напоенный сердцем взгляд.

1915

## КАЛИКИ

Проходили калики деревнями,  
Выпивали под окнами квасу,  
У церквей пред затворами древними  
Поклонялись Пречистому Спасу.

Пробиралися странники по полю,  
Пели стих о сладчайшем Иусе.  
Мимо клячи с поклажею топали,  
Подпевали горластые гуси.

Ковыляли убогие по стаду.  
Говорили страдальные речи:  
— Все единому служим мы Господу,  
Возлагая вериги на плечи.

Вынимали калики поспешливо  
Для коров сбереженные крохи.  
И кричали пастушки насмешливо:  
— Девки, в пляску. Идут скоморохи.

1910

Задымился вечер, дремлет кот на бруссе.  
Кто-то помолился: „Господи Иисусе“.

Полыхают зори, курятся туманы,  
Над резным окошком занавес багряный.

Вьются паутины с золотой повеи.  
Где-то мышшь скребется в затворенной клетии...

У лесной поляны — в свясях копны хлеба,  
Ели, словно копя, уперлися в небо.

Закадили дымом под рососою роши...  
В сердце почивают тишина и мощи.

1912

Край любимый! Сердцу снятся  
Скирды солнца в водах лонных.  
Я хотел бы затеряться  
В зелених твоих стозвонных.

По меже на переметке  
Резеда и риза кашки.  
И вызванивают в четки  
Ивы, кроткие монашки.

Курит облаком болото,  
Гарь в небесном коромысле.  
С тихой тайной для кого-то  
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, все приемлю,  
Рад и счастлив душу вынуть.  
Я пришел на эту землю,  
Чтоб скорей ее покинуть

Пойду в скуфье смиренным иноком  
Иль белобрысым босяком,  
Туда, где льется по равнинам  
Березовое молоко.

Хочу концы земли измерить,  
Доверясь призрачной звезде,  
И в счастье ближнего поверить  
В звенящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной  
Сшибает яблоки зари.  
Сгребая сено на покосах,  
Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,  
Я говорю с самим собой:  
Счастлив, кто жизнь свою украсил  
Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,  
Живя без друга и врага,  
Пройдет проселочной дорогой,  
Молясь на копны и стога.

Шол Господь пытать людей в любви,  
Выходил он нищим на кулижку.  
Старый дед на пне сухом в дуброве  
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,  
На тропинке с клюшкою железной,  
И подумал: „Вишь, какой убогой,—  
Знать, от голода качается, болезный“.

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:  
Видно, мол, сердца их не разбудишь...  
И сказал старик, протягивая руку:  
— На, пожуй... маленько крепче будешь.

1914

## ОСЕНЬ

Р. В. Иванову

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.  
Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.

Над речным покровом берегов  
Слышен синий лязг ее подков

Схимник-ветер шагом осторожным  
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту  
Язвы красные незримому Христу.

1914

Не ветры осыпают пуши,  
Не листопад златит холмы.  
С голубизны незримой куши  
Струятся звездные псалмы.

Я вижу — в просиничном плато,  
На легкокрылых облаках,  
Идет возлюбленная Мати  
С пречистым Сыном на руках.

Она несет для мира снова  
Распятъ воскресшего Христа.  
— Ходи, мой сын, живи без крова,  
Зорюй и полднуй у куста.

И в каждом страннике убогом  
Я визнавать пойду с тоской,  
Не Помазуемый ли Богом  
Стучит берестяной клюкой.

И может быть, пройду я мимо  
И не замечу в тайный час,  
Что в елях — крылья херувима,  
А под пеньком — голодный Спас.

1914

## В ХАТЕ

Пахнет рыхлыми драконами,  
У порога в дежке квас,  
Над печурками точеными  
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,  
В печке нитки попелиц,  
А на лавке за солонкою —  
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,  
Нагибается низко,  
Старый кот к махотке крадется  
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные  
Над оглоблями сохи,  
На дворе обедню стройную  
Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,  
От пугливой шумоты,  
Из углов щенки кудлатые  
Заползают в хомуты.

1914

По селу тропинкой кривенькой  
В летний вечер голубой  
Рекрута ходили с ливенкой  
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые  
Да последние деньки:  
„Ты прощай, село родимое,  
Темна роща и пеньки“.

Зори пенились и таяли.  
Все кричали, пяча грудь:  
— До рекрутства горе маяли,  
А теперь пора гульнуть.

Размахнув кудрями русыми,  
В пляс пускались весело.  
Девки брякали им бусами,  
Зазывали за село.

Выходили парни бравые  
За гуменные плетни,  
А девчоночки лукавые  
Убегали, — догони!

Над зелеными пригорками  
Развивались платки.  
По полям, бредя с кошолками,  
Улыбались старики.

По кустам, в траве над лыками,  
Под пугливый возглас сов,  
Им смеялась роща зыками  
С переливом голосов.

По селу тропинкой кривенькой,  
Ободравшись о пеньки,  
Рекрута играли в ливенку  
Про остольные деньки.

1914

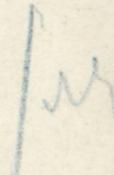
Гой ты, Русь моя родная,  
Хаты — в ризах образа...  
Не видать конца и края —  
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,  
Я смотрю твои поля.  
А у низеньких околиц  
Звонко чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом  
По церквам твой кроткий Спас.  
И гудит за корогодом  
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стёжке  
На приволь зеленых лех,  
Мне навстречу, как сережки,  
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:  
— Кинь ты Русь, живи в раю!  
Я скажу: не надо рая,  
Дайте родину мою.



1914

Я — пастух; мои палаты —  
Межи зыбистых полей,  
По горам зеленым — скаты  
С гарком гулких дупелей.

Вяжут кружево над лесом  
В желтой пене облака.  
В тихой дреме под навесом  
Слышу шопот сосняка.

Светят зелено в сутёмы  
Под росую тополя.  
Я — пастух; мои хоромы —  
В мягкой зелени поля.

Говорят со мной коровы  
На кивливом языке.  
Духовитые дубровы  
Кличут ветками к реке.

Позабыв людское горе,  
Сплю на вырублях сучья.  
Я молюсь на алы зори,  
Причащаюсь у ручья.

1914

Сторона ль моя, сторонка,  
Горевая полоса.  
Только лес да посолонка  
Да заречная коса...

Чахнет старая церквушка,  
В облака закинув крест.  
И забольная кукушка  
Не летит с печальных мест.

По тебе ль, моей сторонке,  
В половодье каждый год  
С подошочка и котомки  
Богомольный льется пот.

Лица пыльны, загорелы,  
Веки выглодала даль,  
И впилась в худое тело  
Спаса кроткого печаль.

1914

Сохнет стаявшая глина,  
На сугорьях гниль опёнок.  
Пляшет ветер по равнинам —  
Рыжий ласковый ослёнок.

Пахнет вербой и смолою.  
Синь то дремлет, то вздыхает.  
У лесного аналая  
Воробей псалтирь читает.

Прошлогодний лист в овраге  
Средь кустов — как ворох меди.  
Кто-то в солнечной сермяге  
На ослёнке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,  
Но лицо его туманно.  
Никнут сосны, никнут ели  
И кричат ему: „Осанна!“

1914

Чую радуницу Божью —  
Не напрасно я живу,  
Поклоняюсь придорожью,  
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,  
Меж берез кудрявых бус,  
Под венком, в кольце иголок,  
Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,  
Как во царствие небес,  
И горит в парче лиловой  
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,  
Словно огненный язык,  
Завладел моей дорогой,  
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,  
В сердце радость детских снов,  
Я поверил от рожденья  
В Богородицын покров.

1914

По дороге идут богомолки,  
Под ногами полынь да комли.  
Раздвигая щипульные колки,  
На канавах звенят костыли.

Гопчут лапти по полю кукольной,  
Где-то ржанье и храп табуна,  
И зовет их с большой колокольни  
Гулкий звон, словно зык чугуна.

Отряхают старухи дулейки,  
Вяжут девки косницы до пят.  
Из подворья с высокой келейки  
На платки их монахи глядят.

На вратах монастырские знаки:  
„Упокою грядущих ко мне“,  
А в саду разбрехались собаки,  
Словно чуя воров на гумне.

Лижут сумерки золото солнца,  
В дальних рощах аукает звон...  
По тени от ветлы веретенца —  
Богомолки идут на канон.

1914

Край ты мой заброшенный,  
Край ты мой, пустырь,  
Сенокос некошенный,  
Лес да монастырь.

Избы забоченились,  
А и всех-то пять.  
Крыши их запенились  
В заревую гать.

Под соломой-ризюю  
Выструги стропил,  
Ветер плесень сизую  
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха  
Вороны крылом.  
Как метель, черемуха  
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике  
Жисть твоя и быль,  
Что под вечер путнику  
Нашептал ковыль?

1914

Заглушила засуха засевок,  
Сохнет рожь, и не всходят овсы.  
На молебен с хоругвями девки  
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чаши,  
Лихоманную грусть затая.  
Загузынил дьячишко ледащий  
„Спаси, Господи, люди твоя“.

Открывались небесные двери,  
Дьякон бавкнул из кряжистых сил:  
„Еще молимся, братья о вере,  
Чтобы Бог нам поля оросил“.

Заливались веселые птицы,  
Крапал брызгами поп из горстей,  
Стрекотуньи-сороки, как свахи,  
Накликали дождливых гостей.

Зыбко пенились зори за рощей,  
Как холстины, ползли облака,  
И туманно по больнице тощей  
Меж кустов ворковала река.

Скинув шапки, молясь и вздыхая,  
Говорили промеж мужики:  
— Колосилась-то ярь неплохая,  
Да сгубили сухие деньки.

На коне — черной тучице в санках  
Билось пламя-шлея... синь и дрожь.  
И кричали парнишки в еланках:  
— Дождик, дождик, полей нашу рожь!

1914

Чорная, потом пропахшая выть,  
Как мне тебя не ласкать, не любить.

Выйду на озеро в синюю гать,  
К сердцу вечерняя льнет благодать.

Серым веретьем стоят шалаши,  
Глухо баюкают хлюпь камыши.

Красный костер окровил таганы,  
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари  
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали, на кукане реки  
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...  
Грустная песня, ты — русская боль.

1914

Тоги да болота,  
Синий плат небес.  
Хвойной позолотой  
Взвенивает лес.

Тенькает синица  
Меж лесных кудрей.  
Темным елям снится  
Гомон косарей.

По лугу со скрипом  
Тянется обоз —  
Суховатой липой  
Пахнет от колес.

Слушают ракиты  
Посвист ветряной...  
Край ты мой забытый,  
Край ты мой родной!

1914

За темной прядью перелесиц,  
В неколебимой синеве,  
Ягненок кудрявый — месяц  
Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой  
Бодаются его рога, —  
И кажется с тропы далекой —  
Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым  
Кадит черемуховый дым,  
И за долинами по склонам  
Свивает полымя над ним.

О, сторона ковыльной пуши,  
Ты сердцу ровностью близка,  
Но и в твоей таится гуще  
Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной требе,  
Забыв, кто друг тебе и враг,  
О розовом тоскуешь небе  
И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири  
Пугливо кажет темнота  
И кандалы твоей Сибири  
И горб Уральского хребта.

1915

В том краю, где жолтая крапива  
И сухой плетень,  
Приютились к вербам сиротливо  
Избы деревень.

Там в полях, за синей гушей лога,  
В зелени озер,  
Пролегла песчаная дорога  
До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,  
Нипочом ей страх.  
И идут по той дороге люди,  
Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,  
Как судил им рок.  
Полюбил я грустные их взоры  
С впадинами щок.

Много зла от радости в убийцах,  
Их сердца просты,  
Но кривятся в почернелых лицах  
Голубые оты.

Я одну мечту, скрывая, нежу —  
Что я сердцем чист.  
Но и я кого-нибудь зарежу  
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,  
По тому ль песку,  
Поведут с веревкою на шее  
Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом  
Распрямлю я грудь,  
Языком залижет непогода  
Прожитой мой путь.

1915

Я снова здесь, в семье родной,  
Мой край, задумчивый и нежный!  
Кудрявый сумрак за горой  
Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня  
Плывут всклокоченные мимо,  
И грусть вечерняя меня  
Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав  
Тень от зари упала ниже  
О, други игрищ и забав,  
Уж я вас больше не увижу!

В забвенье канули года,  
Вослед и вы ушли куда-то.  
И лишь попрежнему вода  
Шумит за мельницей крылатой.

И часто я в вечерней мгле,  
Под звон надломленной осоки,  
Молюсь дымящейся земле  
О невозвратных и далеких.

1915

Не бродить, не мять в кустах багряных  
Лебеды и не искать следа.  
Со снопом волос твоих овсяных  
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,  
Нежная, красивая, была  
На закат ты розовый похожа  
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,  
Имя тонкое растаяло, как звук,  
Но остался в складках смятой шали  
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,  
Как котенок, моет лапкой рот,  
Говор кроткий о тебе я слышу  
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,  
Что была ты песня и мечта,  
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,  
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных  
Лебеды и не искать следа.  
Со снопом волос твоих овсяных  
Отоснилась ты мне навсегда.

1915

О красном вечере задумалась дорога,  
Кусты рябин туманней глубины.  
Изба-старуха челюстью порога  
Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко  
Крадется мглой к овсяному двору.  
Сквозь синь стекла желтоволосый отрок  
Лузит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети  
Зола зеленая из розовой печи.  
Кого-то нет, и тонкогубый ветер  
О ком-то шепчет, сгинушем в ночи.

Кому-то пятками уже не мять по рощам  
Щербленный лист и золото травы.  
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,  
Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,  
Дорога белая узорит скользкий ров...  
И нежно охает ячменная солома,  
Свисая с губ кивающих коров.

Ночь и поле, и крик петухов...  
С златной тучки глядит Саваоф.  
Хлесткий ветер в равнинную синь  
Катит яблоки с тощих осин.

Вот она, невеселая рябь  
С журавлиной тоской сентября!  
Смолкшим колоколом над прудом  
Опрокинулся отчий дом.

Здесь все так же, как было тогда,  
Те же реки и те же стада.  
Только ивы над красным бугром  
Обветшалым трясут подолом.

Кто-то сгиб, кто-то канул во тьму,  
Уж кому-то не петь на холму.  
Мирно грезит родимый очаг  
О погибших во мраке плечах.

Тихо-тихо в божничном углу,  
Месяц месит кутью на полу...  
Но тревожит лишь помином тишь  
Из запечья пугливая мышь.

О, край дождей и непогоды,  
Кочующая тишина,  
Ковригой хлебною под сводом  
Надломлена твоя луна.

За перепаханною нивой  
Малиновая лебеда.  
На ветке облака, как слива,  
Златится спелая звезда.

Опять дорогой верстовою,  
Наперекор твоей беде,  
Бреду и чую яровое  
По голубеющей воде.

Клубит и пляшет дым болотный...  
Но и в кошме певучей тьмы  
Неизреченностью животной  
Напоены твои холмы.

## ГОЛУБЕНЬ

В прозрачном холоде заголубели доли,  
Отчотлив стук подкованных копыт.  
Трава поблекшая в расстеленные полы  
Сбирает медь с обветренных раки.

С пустых лощин ползет дугою тощей  
Сырой туман, курчаво свившись в мох,  
И вечер, свесившись над речкою, полощет  
Водою белой пальцы синих ног.



Осенним холодом расцвечены надежды,  
Бредет мой конь, как тихая судьба,  
И ловит край махающей одежды  
Его чуть мокрая буланая губа.

В дорогу дальнюю, ни к битве, ни к покою,  
Влекут меня незримые следы, —  
Погаснет день, мелькнув пятой златою,  
И в короб лет улягутся труды.



Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге  
Холмы плешивые и слегшийся песок,  
И пляшет сумрак в галочьей тревоге,  
Согнув луну в пастушеский рожок.

Молочный дым качает ветром села,  
Но ветра нет, есть только легкий звон.  
И дремлет Русь в тоске своей веселой,  
Вцепивши руки в желтый крутосклон.

Манит ночлег, недалеко до хаты,  
Укропом вялым пахнет огород,  
На грядки серые капусты волноватой  
Рожок луны по капле масло льет.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба  
И с хрустом мысленно кусаю огурцы.  
За ровной гладью вздрогнувшее небо  
Выводит облако из стойла под уздцы.

Ночлег, ночлег, мне издавна знакома  
Твоя попутная разымчивость в крови,  
Хозяйка спит, а свежая солома  
Примята ляжками вдовеющей любви.

Уже светает, краской тараканьей  
Обведена божница по углу,  
Но мелкий дождь своей молитвой ранней  
Еще стучит по мутному стеклу.



Опять передо мною голубое поле,  
Качают лужи солнца рдяный лик.  
Иные в сердце радости и боли,  
И новый говор липнет на язык.

Водою зыбкой стынет синь во взорах,  
Бредет мой конь, откинув удила,  
И горстью смуглою листвы последний ворох  
Кидает ветер вслед из подола.

Колокольчик среброзвонный,  
Ты поешь? Иль сердцу снится?  
Свет от розовой иконы  
На золотых моих ресницах

Пусть не я тот нежный отрок  
В голубином крыльев плеске,  
Сон мой радостен и кроток  
О нездешнем перелеске.

Мне не нужен вздох могилы —  
Слову с тайной не обняться.  
Научи, чтоб можно было  
Никогда не просыпаться.

Запели тесаные дроги,  
Бегут равнины и кусты.  
Опять часовни на дороге  
И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен  
От овсяного ветерка.  
И на известку колоколен  
Невольню крестится рука.

О, Русь, малиновое поле  
И синь, упавшая в реку.  
Люблю до радости и боли  
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,  
Ты на туманном берегу.  
Но не любить тебя, не верить —  
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи  
И не расстанусь с долгим сном,  
Когда звенят родные степи  
Молитвословным ковылем.

Не напрасно дули ветры,  
Не напрасно шла гроза.  
Кто-то тайный тихим светом  
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней  
Отгрустил я в синей мгле  
О прекрасной, но нездешней,  
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,  
Не тревожит звездный страх.  
Полюбил я мир и вечность,  
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,  
Все тревожное светло.  
Плещет рдяный мак заката  
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба  
Рвется образ с языка:  
Отелившееся небо  
Лижет красного телка.

## КОРОВА

Дряхлая, выпали зубы,  
Свиток годов на рогах.  
Бил ее выгонщик грубый  
На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,  
Мыши скребут в уголке.  
Думает грустную думу  
О белоногом телке.

Не дали матери сына,  
Первая радость не впрок.  
И на колу под осиной  
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом сее,  
С той же сыновней судьбой,  
Свяжут ей пеглю на шее  
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще,  
В землю вопьются рога...  
Снится ей белая роща  
И травяные луга.

1915

Под красным вязом крыльцо и двор,  
Луна над крышей, как злат бугор.

На синих окнах накапан лик:  
Бредет по туче седой Старик.

Он смуглой горстью меж тихих дров  
Бросает звезды — озимый сев.

Взрастает нива, и зерна душ  
Со звоном неба спадают в глушь.

Я помню время — оно, как звук,  
Стучало клювом в древесный сук.

Я был во злаке, но костный ум  
Уж верил в поле и водный шум.

В меже под елью, где облак тын,  
Мне снились реки золотых долин.

И слышал дух мой про край холмов,  
Где есть рожденье в посевах слов.

1915

## ТАБУН

В холмах зеленых табуны коней  
Сдувают ноздрями золотой налет со дней.

С бугра высокого в синеющий залив  
Упала смоль качающихся грив.

Дрожат их головы над тихою водой,  
И ловит месяц их серебряной уздой.

Храпя в испуге на свою же тень,  
Зазастить гривами они ждут новый день.



Весенний день звенит над конским ухом  
С приветливым желаньем к первым мухам.

Но к вечеру уж кони над лугами  
Брыкаются и хлопают ушами.

Все резче звон, прилипший на копытах,  
То тонет в воздухе, то виснет на ракетах.

И лишь волна потянется к звезде,  
Мелькают мухи пеплом по воде.



Погасло солнце. Тихо на лужке.  
Пастух играет песню на рожке.

Уставясь лбами, слушает табун,  
Что им поет вихрастый гамаюн.

А эхо резвое, скользнув по их губам,  
Уносит думы их к неведомым лугам.

Любя твой день и ночи темноту,  
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

1915

## ПРОПАВШИЙ МЕСЯЦ

Облак, как мышь, подбежал и взмахнул  
В небо огромным хвостом.  
Словно яйцо, расколовшись, скользнул  
Месяц за дальним холмом.

Солнышко утром в колодезь озер  
Глянуло, — месяца нет...  
Свесило ноги оно на бугор,  
Кликнуло, — месяца нет

Клич тот услышал с реки рыболов,  
Вздумал старик подшутить.  
Отраженье от солнышка с утренних вод  
Стал он руками ловить.

Выловил. Крепко скрутил бечевой,  
Уши коленом примял.  
Вылез и тихо на луч золотой  
Солнечных век привязал.

Солнышко к небу глаза подняло  
И сказало: „Тяжек мой труд!“.  
И вдруг солнышку что-то веки свело,  
Оглянулося — месяц как тут.

Как белка на ветке, у солнца в глазах  
Запрыгала радость...  
Но вдруг...  
Луч оборвался, и по скользким холмам  
Отраженье скатилось в луг.

Солнышко испугалось... А старый дед,  
Смеясь, грохотал, как гром.  
И голубем синим вечерний свет  
Махал ему в рот крылом.

О товарищах веселых —  
О полях посеребрённых,  
Загрустила, словно голубь,  
Радость лет уединённых.

Ловит память тонким клювом  
Первый снег и первопуток.  
В санках озера над лугом  
Запоздалый окрик уток.

Под окном от скользких елей  
Тень протягивает руки.  
Тихих вод парагуш квелый  
Курит люльку на излучке.

Легким дымом к дальним пожням  
Шлет поклон день ласк и вишен.  
Запах трав от бабьей кожи  
На губах моих я слышу.

Мир вам, рощи, луг и липы,  
Литии медовый ладан!  
Все приявшему с улыбкой  
Ничего от вас не надо.

1916

Весна на радость не похожа,  
И не от солнца жолт песок.  
Твоя обветренная кожа  
Лучила гречневый пушок.

У голубого водополя  
На шишкоперой лебеде  
Мы поклялись, что будем двое  
И не расстанемся нигде.

Кадила темь, и вечер тоший  
Свивался в огненной резьбе.  
Я проводил тебя до роши  
К твоей родительской избе.

И долго-долго в дреме зыбкой  
Я оторвать не мог лица,  
Когда ты с ласковой улыбкой  
Махал мне шапкою с крыльца.

1916

Алый мрак в небесной черни  
Начертил пожаром грань.  
Я пришел к твоей вечерне,  
Полевая глухомань.

Нелегка моя кошница,  
Но глаза синее дня.  
Знаю, мать-земля черница,  
Все мы тесная родня.

Разошлись мы в даль и шири  
Под лазоревым крылом.  
Но сзовет нас из псалтири  
Заревой заре псалом.

И придем мы по равнинам  
К правде сошьяго креста  
Светом книги голубиной  
Напоить свои уста.

1916

Прощай, родная пуща,  
Прости, златой родник.  
Плывут и рвутся тучи  
О солнечный сошник.

Сияй ты, день погожий,  
А я хочу грустить.  
За голенищем ножик  
Мне больше не носить.

Под брюхом жеребенка  
В глухую ночь не спать  
И радостью звонкой  
Лесов не оглашать.

И не избегнуть бури,  
Не миновать утрат,  
Чтоб прозвенеть в лазури  
Кольцом незримых врат.

1916

Покраснела рябина,  
Посинела вода.  
Месяц, всадник унылый,  
Уронил поводя.

Снова выплыл из роши  
Синим лебедем мрак.  
Чудотворные мощи  
Он принес на крылах.

Край ты, край мой родимый,  
Вечный пахарь и вой,  
Словно Волга под ивой.  
Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,  
Навестил тебя Спас.  
Лебединое пенье  
Нежит радугу глаз.

Дня закатного жертва  
Искупила весь грех.  
Новой свежестью ветра  
Пахнет зреющий снег.

Но незримые дрожжи  
Все теплей и теплей...  
Помяну тебя в дождик  
Я, Есенин Сергей.

1916

Твой глас незримый, как дым в избе.  
Смирненным сердцем молюсь тебе.

Овсяным ликом питаю дух,  
Помощник жизни и тихий друг.

Рудою солнца посеян свет,  
Для вечной правды названья нет.

Считает время песок мечты,  
Но новых зерен прибавил ты.

В незримых пашнях растут слова.  
Смешалась с думой ковыль-трава.

На крепких сгибах воздетых рук  
Возводит церкви строитель звук.

Есть радость в душах — топтать твой цвет,  
На первом снеге свой видеть след.

Но краше кротость и стихший пыл  
Склонивших веки пред звоном крыл.

1916

В лунном кружеве украдкой  
Ловит призраки долина.  
На божнице за лампадкой  
Улыбнулась Магдалина.

Кто-то дерзкий, непокорный  
Позавидовал улыбке.  
Вспучил бельма вечер черный,  
И луна — как в белой зыбке.

Разыгралась тройка-вьюга,  
Брызжет пот, холодный, тёрпкий,  
И плакучая лещуга  
Лезет к ветру на закорки.

Смерть в потемках точит бритву..  
Вон уж плачет Магдалина.  
Помяни мою молитву  
Тот, кто ходит по долинам.

1916

Там, где вечно дремлет тайна,  
Есть нездешние поля.  
Только гость я, гость случайный  
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,  
Крепск взмах воздушных крыл.  
Но века твои и годы  
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,  
Не с тобой мой связан рок.  
Новый путь мне уготован  
От захода на восток.

Суждено мне изначально  
Возлететь в немую тьму.  
Ничего я в час прощальный  
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,  
В тот покой, где спит гроза,  
В две луны зажгу над бездной  
Незакатные глаза.

1916

Тучи с ожерёба  
Ржут, как сто кобыл.  
Плещет надо мною  
Пламя красных крыл.

Небо, словно вымя,  
Звезды, как сосцы.  
Пухнет Божье имя  
В животе овцы.

Верю: завтра рано,  
Чуть забрезжит свет,  
Новый под туманом  
Вспыхнет Назарет.

Новое восславят  
Рождество поля,  
И, как пес, пролает  
За горой заря.

Только знаю: будет  
Страшный вопль и крик,  
Отрекутся люди  
Славить новый лик.

Скрежетом булата  
Вздыбят пасть земли...  
И со щок заката  
Спрыгнут скулы-дни.

Побегут, как лани,  
В степь иных сторон,  
Где вздымает длани  
Новый Симеон.

1916

## ЛИСИЦА

А. М. Ремизову

На раздробленной ноге приковыляла,  
У норы свернулася в кольцо.  
Тонкой прошивой кровь отмежевала  
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,  
Колыхалася в глазах лесная топь.  
Из кустов косматый ветер взбыстрил  
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,  
Мокрый вечер липок был и ал.  
Голова тревожно подымалась,  
И язык на ране застывал.

Жолтый хвост упал в мятель пожаром.  
На губах — как прелая морковь...  
Пахло инеем и глиняным угаром,  
А в ошур сочилась тихо кровь.

1916

О, Русь, взмахни крылами,  
Поставь иную крепь!  
С иными именами  
Встает иная степь.

По голубой долине,  
Меж телок и коров,  
Идет в золотой ряднине  
Твой Алексей Кольцов.

В руках — краюха хлеба,  
Уста — вишневый сок.  
И вызвездило небо  
Пастушеский рожок.

За ним; с снегов и ветра,  
Из монастырских врат,  
Идет, одетый светом,  
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи  
Он избраздил весь край  
И выбрал кличку — Ключев,  
Смиренный Миколай.

Монашья мудр и ласков,  
Он весь в резьбе молвы,  
И тихо сходит пасха  
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,  
Иду, тропу тая,  
Кудрявый и веселый,  
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,  
Несчетны склоны гор;  
Но даже с тайной Бога  
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц  
И на немую дрожь  
Бросаю, в небо свесясь,  
Из голенища нож.

За мной незримым роем  
Идет кольцо других,  
И далеко по селам  
Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,  
Слова трясем с двух пол.  
И сродник наш, Чапыгин,  
Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь, ты, племя  
Смердящих снов и дум!  
На каменное темя  
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять,  
И славить взлетом гнусь —  
Уж смыла, стерла деготь  
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами  
Ее немая крепь!  
С иными именами  
Встает иная степь.

1916

Гляну в поле, гляну в небо —  
И в полях и в небе рай.  
Снова тонет в копнах хлеба  
Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасеных  
Неизбывные стада,  
И струится с гор зеленых  
Златоструйная вода.

О, я верю — знать, за муки  
Над пропащим мужиком  
Кто-то ласковые руки  
Проливает молоком.

1916

То не тучи бродят за овинѣм  
И не холод.  
Замесила Божья мать сыну  
Колоб.

Всякой снадобью она поила жито  
В масле.  
Испекла и положила тихо  
В ясли.

Заигрался в радости младенец,  
Пал он в дрѣму,  
Уронил он колоб золоченый  
На солому.

Покатился колоб за ворота  
Рожью.  
Замутили слезы душу голубую  
Божью.

Говорила Божья мать сын  
Советы:  
„Ты не плачь, мой лебеденочек,  
Не сетуй.

На земле все люди челоэеки,  
Чада.  
Хоть одну им малую забаву  
Надо.

„Жутко им меж темных  
Перелесиц.  
Назвала я этот колоб —  
Месяц“.

1916

Разбуди меня завтра рано,  
О, моя терпеливая мать!  
Я пойду за дорожным курганом  
Дорогова гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще  
След широких колес на лугу.  
Треплет ветер под облачной кущей  
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,  
Шапку-месяц пригнув под кустом,  
И игриво взмахнет кобылица  
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,  
Засвети в нашей горнице свет.  
Говорят, что я скоро стану  
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,  
Нашу печь, петуха и кров...  
И на песни мои прольется  
Молоко твоих рыжих коров.

1917

Где ты, где ты, отчий дом,  
Гревший спину под бугром?  
Синий, синий мой цветок,  
Неприхоженный песок.  
Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поет петух —  
Там стада стерег пастух,  
И светились из воды  
Три далекие звезды.  
За рекой поет петух.

Время — мельница с крылом  
Опускает за селом  
Месяц маятником в рожь  
Лить часов незримый дождь.  
Время — мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел  
В тучах дом мой завертел,  
Синий подкосил цветок,  
Золотой примял песок.  
Этот дождик с сонмом стрел.

1917

О, Матерь Божья,  
Спади звездой  
На бездорожие,  
В овраг глухой.

Пролей, как масло,  
Власа луны  
В мужичьи ясли  
Моей страны.

Срок ночи долог.  
В них спит твой сын.  
Спусти, как полог,  
Зарю на синь.

Окинь улыбкой  
Мирскую весь  
И солнце зыбкой  
К кустам привесь.

И да взиграет  
В ней, слава день,  
Земного рая  
Святой младень.

1917

О, пашни, пашни, пашни,  
Коломенская грусть,  
На сердце день вчерашний,  
А в сердце светит Русь.

Как птицы, свищут вёрсты  
Из-под копыт коня.  
И брызжет солнце горстью  
Свой дождик на меня.

О, край разливов грозных  
И тихих вешних сил,  
Здесь по заре и звездам  
Я школу проходил.

И мысвил и читал я  
По библии ветров,  
И пас со мной Исая  
Моих золотых коров.

1917

Нивы сжаты, рощи голы,  
От воды туман и сырость.  
Колесом за сини горы  
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.  
Ей сегодня примечталось,  
Что совсем-совсем немного  
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой  
Увидал вчера в тумане:  
Рыжий месяц жеребенком  
Запрягался в наши сани.

1917

Л. И. Кашиной

Зеленая причоска,  
Девическая грудь,  
О, тонкая березка,  
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?  
О чом звенит песок?  
Иль хочешь в косы-ветви  
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну  
Твоих древесных дум,  
Я полюбил — печальный  
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:  
— О, любопытный друг,  
Сегодня ночью звездной  
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,  
Сияли зеленыя.  
За голые колени  
Он обнимал меня.

И так, вздохнувши глубоко,  
Сказал под звон ветвей:  
— Прощай, моя голубка,  
До новых журавлей.

1917

Я по первому снегу бреду,  
• В сердце ландыши вспыхнувших сил.  
Вечер синею свечкой звезду  
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?  
В чаще ветер поет иль петух?  
Может, вместо зимы на полях  
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о, белая гладь!  
Греет кровь мою легкий мороз!  
Так и хочется к телу прижать  
Обнаженные груди берез.

О, лесная, дремучая муть!  
О, веселье оснеженных нив!..  
Так и хочется руки сомкнуть  
Над древесными бедрами ив.

1917

Серебристая дорога,  
Ты зовешь меня куда?  
Свечкой чисточетверговой  
Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?  
Иль к безумью правишь бег?  
Помоги мне сердцем вешним  
Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,  
Ветку вербы на узду.  
Может быть, к вратам Господним  
Сам себя я приведу.

1917

Отвори мне, страж заоблачный,  
Голубые двери дня.  
Белый ангел этой полночью  
Моего увел коня.

Богу лишнего не надобно,  
Конь мой — мощь моя и крепь.  
Слышу я, как ржот он жалобно,  
Закусив золотую цепь.

Вижу, как он бьется, мечется,  
Теребя тугой аркан,  
И летит с него, как с месяца,  
Шерсть буланая в туман.

1917

О, верю, верю, счастье есть!  
Еще и солнце не погасло.  
Заря молитвенником красным  
Пророчит благостную весть.  
О, верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, золотая Русь,  
Волнуйся, неуёмный ветер!  
Блажен, кто радостью отметил  
Твою пастушескую грусть.  
Звени, звени, золотая Русь.

Люблю я ропот буйных вод  
И на волне звезды сиянье,  
Благословенное страданье,  
Благословляющий народ.  
Люблю я ропот буйных вод.

1917

Песни, песни, о чем вы кричите?  
Иль вам нечего больше дать?  
Голубого покоя нити  
Я учусь в мои кудри вплетать.

Я хочу быть тихим и строгим.  
Я молчанью у звезды учусь.  
Хорошо ивняком при дороге  
Сторожить задремавшую Русь.

Хорошо в эту лунную осень  
Бродить по траве одному  
И собирать на дороге колосья  
В обнищалаю душу-суму.

Но равнинная синь не лечит.  
Песни, песни, иль вас не стяхнуть?..  
Золотистой метелкой вечер  
Расчищает мой ровный путь.

И так радостен мне над пущей  
Замирающий в ветре крик:  
— Будь же холоден ты, живущий,  
Как осеннее золото лип.

1917

Вот оно, глупое счастье  
С белыми окнами в сад!  
По пруду лебедем красным  
Плавает тихий закат.

Здравствуй, золотое затишье,  
С тенью березы в воде!  
Галочья стая на крыше  
Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,  
Там, где калина цветет,  
Нежная девушка в белом  
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой  
С поля ночной холодок...  
Глупое, милое счастье,  
Свежая розовость щок!

1918

Проплясал, проплакал дождь весенний,  
Замерла гроза.  
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,  
Подымать глаза...

Скучно слушать под небесным древом  
Взмах незримых крыл:  
Не разбудишь ты своим напевом  
Дедовских могил.

Привязало, осаднило слово  
Даль твоих времен.  
Не в ветрах, а, зная, в томах тяжелых  
Прозвенит твой сон.

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,  
Вытянет персты.  
Близок твой кому-то красный вечер,  
Да не нужен ты.

Всколыхнет он Брюсова и Блока,  
Встормошит других,  
Но все так же день взойдет с востока,  
Так же вспыхнет миг.

Не изменят лик земли напевы,  
Не стряхнут листа.  
Навсегда твои пригвождены ко древу  
Красные уста.

Навсегда простер глухие длани  
Звездный твой Пилат...  
Или, Или, Лима Савахвани,  
Отпусти в закат.

О, муза, друг мой гибкий,  
Ревнивица моя.  
Опять под дождик сыпкий  
Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом  
Приветствует нас дол.  
Младенцем завернула  
Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра  
И нежное баю,—  
За то, что ты окрепла,  
За то, что праздник светлый  
Влила ты в грудь мою.

Теперь бы брызнуть в небо  
Вишневым соком стих  
За отческую щедрость  
Наставников твоих.

О, мед воспоминаний!  
О, звон далеких лип!  
Звездой нам пел в тумане  
Разумниковский лик.

Тогда в веселом шуме  
Игривых дум и сил  
Апостол нежный Клюев  
Нас на руках носил.

Теперь мы стали зреей  
И весом тяжелей...  
Но не заглушит трелью  
Тот праздник соловей.

И этот дождик шалый  
Его не смоем в нас,  
Чтоб звон твоей лампы  
Под ветром не погас.

1917

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,  
Скромен в песнях досчатый мост.  
За прощальной стою обедней  
Кающихся листвою берез.

Догорит золотистым пламенем  
Из телесного воска свеча,  
И луны часы деревянные  
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля  
Скоро выйдет железный гость.  
Злак овсяный, зарею пролитый,  
Соберет его черная горсть.

Неживые, чужие ладони,  
Этим песням при вас не жить!  
Только будут колосья - кони  
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,  
Панихидный справляя пляс.  
Скоро, скоро часы деревянные  
Прохрипят мой двенадцатый час!

1921

Душа грустит о небесах,  
Она нездешних нив жилища.  
Люблю, когда на деревьях  
Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов,  
Как свечи, теплятся пред тайной,  
И расцветают звезды слов  
На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол,  
Но не стряхну я муку эту,  
Как отразивший в водах дол  
Вдруг в небе ставшую комету

Так кони не стряхнут хвостами  
В хребты их пьющую луну...  
О, если б прорасти глазами,  
Как эти листья, в глубину.

1919

Устал я жить в родном краю  
В тоске по гречневым просторам,  
Покину хижину мою,  
Уйду бродягою и воров.

Пойду по белым кудрям дня  
Искать убогое жилище.  
И друг любимый на меня  
Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу  
Обвита жолтая дорога  
И та, чье имя берегу,  
Меня прогонит от порога.

И вновь вернусь я в отчий дом,  
Чужою радостью утешусь,  
В зеленый вечер под окном  
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня  
Нежнее головы наклонят.  
И необмытого меня  
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,  
Роняя весла по озерам,  
И Русь все так же будет жить,  
Плясать и плакать у забора.

1915

О, Боже, Боже, эта глубь —  
Твой голубой живот.  
Златое солнышко, как пуп,  
Глядит в Каспийский рот.

Крючками звезд свивая в нить  
Лучи, ты ловишь нас,  
И вершами бросаешь дни  
В зрачки озерных глаз.

Но в малый вентерь рыбаля  
Не заплывает сом.  
Не втащит неводом заря  
Меня в твой тихий дом.

Сойди на землю без порток,  
Взбурли всю хлябь и водь,  
Смолой кипящею восток  
Пролей на нашу плоть.

Да опалят уста огня  
Людскую страсть и стыд.  
Взнеси, как голубя, меня  
В твой в синих рощах скит.

1919

Я покинул родимый дом,  
Голубую оставил Русь.  
В три звезды березняк над прудом  
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна  
Распласталась на тихой воде.  
Словно яблонный цвет, седина  
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!  
Долго петь и звенеть пурге.  
Стережот голубую Русь  
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем  
Тем, кто листьев целует дождь,  
Оттого, что тот старый клен  
Головой на меня похож.

1918

Хорошо под осеннюю свежесть  
Душу-яблоню ветром стряхать  
И смотреть, как над речкою режет  
Воду синюю солнца соха.

Хорошо выбивать из тела  
Накаляющий песни гвоздь  
И в одежде празднично белой  
Ждать, когда постучится гость.

Я учусь, я учусь моим сердцем  
Цвет черемух в глазах беречь.  
Только в скупости чувства греются,  
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,  
Что ни лист, то свеча заре.  
Никого не впущу я в горницу,  
Никому не открою дверь.

1918

## ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,  
Где златятся рогожи в ряд,  
Семерых ощенила сука,  
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,  
Причосывая языком,  
И струился снежок подталый  
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры  
Обсиживают шесток,  
Вышел хозяин хмурый,  
Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,  
Поспевая за ним бежать.  
И так долго, долго дрожала  
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,  
Слизывая пот с боков,  
Показался ей месяц над хатой  
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко  
Глядела она, скуля,  
А месяц скользил тонкий  
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачи,  
Когда бросят ей камень в смех,  
Покатились глаза собачьи  
Золотыми звездами в снег.

1915.

Закружилась листва золотая  
В розоватой воде на пруду,  
Словно бабочек легкая стая  
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,  
Близок сердцу желтеющий дол.  
Отрок-ветер по самые плечи  
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,  
Синий сумрак, как стадо овец.  
За калиткою смолкшего сада  
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо  
Так не слушал разумную плоть.  
Хорошо бы, как ветками ива,  
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,  
Мордой месяца сено жевать...  
Где ты, где, моя тихая радость —  
Все любя, ничего не желать?

1918

Клюеву

Теперь любовь моя не та.  
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь  
О том, что лунная метла  
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,  
Спадающей тебе на брови,  
Ты сердце выпеснил избе,  
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,  
Прошел, как прежде, мимо кроватки.  
О, друг, кому ж твои ключи  
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,  
В окошко не увидеть рая,  
Так мельница, крылом махая,  
С земли не может улететь.

1918

По-осеннему кычет сова  
Над раздольем дорожной рани.  
Облетает моя голова,  
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное „ку-гу“,  
Здравствуй, мать голубая осина!  
Скоро месяц, купаясь в снегу,  
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,  
Звоном звезд насыпая уши.  
Без меня будут юноши петь,  
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,  
В новом лес огласится свисте.  
По-осеннему сыплет ветер,  
По-осеннему шепчут листья.

1920

## ПЕСНЬ О ХЛЕБЕ

Вот она, суровая жестокость,  
Где весь смысл — страдания людей!  
Режет серп тяжелые колосья,  
Как под горло режут лебедей.

Наше поле издавна знакомо  
С августовской дрожью поутру.  
Перевязана в снопы солома,  
Каждый сноп лежит, как жолтый труп.

На телегах, как на катафалках,  
Их везут в могильный склеп — овин.  
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,  
Чтит возница погребальный чин.

А потом их бережно, без злости,  
Головами стелят по земле,  
И цепами маленькие кости  
Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,  
Что солома — это тоже плоть!..  
Людоедке-мельнице — зубами  
В рот суют те кости обмолоть.

И из мелева заквашивая тесто,  
Выпекают груды вкусных яств...  
Вот тогда-то входит яд белесый  
В жбан желудка яйца злобы класть.

Все побои ржи в припёк окрасив,  
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,  
Он вкушающим соломенное мясо  
Отравляет жернова кишок.

И свистят по всей стране, как осень,  
Шарлатан, убийца и злодей...  
Оттого, что режет серп колосья,  
Как под горло режут лебедей.

1919

## ХУЛИГАН

Дождик мокрыми метлами чистит  
Ивняковый помет по лугам.  
Плюйся, ветер, охапками листьев —  
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,  
Как с тяжелой походкой волы,  
Животами, листвою хрипящими,  
По коленкам марают стволы.

Вот оно мое стадо рыжее!  
Кто ж воспеть его лучше мог?  
Вижу, вижу, как сумерки лизут  
Следы человеческих ног.

Русь моя, деревянная Русь!  
Я один твоей певец и глашатай.  
Звериных стихов моих грусть  
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин  
Зачерпнуть молока берез!  
Словно хочет кого придушить  
Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,  
Злобу вора струит в наш сад,  
Только сам я разбойник и хам  
И по крови — степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит  
Кипячонных черемух рать?  
Мне бы в ночь в голубой степи  
Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,  
Засосал меня песенный плен.  
Осужден я на каторге чувств  
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветер,  
Плюй спокойно листвою по лугам.  
Не сотрет меня кличка „поэт“,  
Я и в песнях, как ты, хулиган.

1919

Все живое особой метой  
Отмечается с ранних пор.  
Если не был бы я поэтом,  
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,  
Средь мальчишек всегда герой,  
Часто, часто с разбитым носом  
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме  
Я цедил сквозь кровавый рот:  
— Ничего! я споткнулся о камень,  
Это к завтраму все заживет.

И теперь вот, когда простыла  
Этих дней кипятковая вязь,  
Беспокойная, дерзкая сила  
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная гряда,  
И над каждой строкой без конца  
Отражается прежняя удаль  
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,  
Только новью мой брызжет шаг...  
Если раньше мне били в морду,  
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,  
А в чужой и хохочущий сброд:  
— Ничего! я споткнулся о камень,  
Это к завтраму все заживет!

1919

Мир таинственный, мир мой древний,  
Ты, как ветер, затих и присел.  
Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель  
Заметалась звенящая жуть.  
Здравствуй ты, моя черная гибель,  
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой  
Окрестил нас как пададь и мразь.  
Стынет поле в тоске волоокой,  
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,  
И легка ей чугунная гать.  
Ну, да что же? ведь нам не впервые  
И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колка  
Эта песня звериных прав!..  
...Так охотники травят волка,  
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал... и из пасмурных недр  
Кто-то спустит сейчас курки...  
Вдруг прыжок... и двуногого недруга  
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!  
Ты не даром даешься ножу.  
Как и ты — я, отсюда гонимый,  
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,  
И хоть слышу победный рожок,  
Но отпробует вражеской крови  
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель  
Упаду и зареюсь в снегу...  
Все же песню отмщенья за гибель  
Пропеют мне на том берегу.

1921

Сторона ль ты моя, сторона!  
Дождевое осеннее олово.  
В черной луже продрогший фонарь  
Отражает безгубую голову.

Нет, уж лучше мне не смотреть,  
Чтобы вдруг не увидеть хужего.  
Я на всю эту ржавую мреть  
Буду щурить глаза и суживать.

Так немного теплей и безбольней.  
Посмотри: меж скелетов домов,  
Словно мельник, несет колокольня  
Медные мешки колоколов.

Если голоден ты — будешь сытым.  
Коль несчастен — то весел и рад.  
Только лишь не гляди открыто,  
Мой земной неизвестный брат.

Как подумал я — так и сделал,  
Но — увы! Все одно и то ж!  
Видно, слишком привыкло тело  
Ощущать эту стужу и дрожь.

Ну, да что же? Ведь много прочих,  
Не один я в миру живой!  
А фонарь то мигнет, то захохочет  
Безгубой своей головой.

Только сердце, под ветхой одеждой,  
Шепчет мне, посетившему твердь:  
— Друг мой, друг мой, прозревшие вежды  
Закрывает одна лишь смерть.

1921

Не ругайтесь. Такое дело!  
Не торговец я на слова.  
Запрокинулась и отяжелела  
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,  
Как же смог я ее донести?  
Брошу все. Отпущу себе бороду  
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,  
Перекину за плечи суму,  
Оттого, что в полях забулдыге  
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком  
И, тревожа вечернюю гладь,  
Буду громко сморкаться в руку  
И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,  
Лишь забыться и слушать пургу,  
Оттого, что без этих чудачеств  
Я прожить на земле не могу.

1922

Не жалею, не зову, не плачу,  
Все пройдет, как с белых яблонь дым.  
Увяданья золотом охваченный,  
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,  
Сердце, тронутое холодком,  
И страна березового ситца  
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже  
Расшевеливаешь пламень уст.  
О, моя утраченная свежесть,  
Буйство ~~глаз~~ и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,  
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?  
Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,  
Тихо льется с кленов листьев медь...  
Будь же ты во-век благословенно,  
Что пришло процвести и умереть.

1921

Я обманывать себя не стану,  
Залегла забота в сердце мгlistом.  
Отчего прослыл я шарлатаном?  
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,  
Не расстреливал несчастных по темницам.  
Я всего лишь уличный повеса,  
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.  
По всему тверскому околотку  
В переулках каждая собака  
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь  
Головой кивает мне навстречу.  
Для зверей приятель я хороший,  
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —  
В глупой страсти сердце жить не в силе —  
В нем удобней, грусть свою уменьшив,  
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,  
Я иному покорился царству.  
Каждому здесь кобелю на шею  
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.  
Прояснилась омут в сердце мгlistом.  
Оттого прослыл я шарлатаном,  
Оттого прослыл я скандалистом.

1922

Да! Теперь решено. Без возврата  
Я покинул родные поля.  
Уж не будут листвою крылатой  
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,  
Старый пес мой давно издох.  
На московских изогнутых улицах  
Умереть, знать, судил мне бог.

Я люблю этот город вязевый,  
Пусть обрюзг он и пусть одрях,  
Золотая дремотная Азия  
Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,  
Когда светит... чорт знает как!  
Я иду, головою свесясь,  
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,  
Но всю ночь на пролёт, до зари,  
Я читаю стихи проституткам  
И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,  
И уж я говорю невпопад:  
— Я такой же, как вы, пропащий,  
Мне теперь не уйти назад.

Низкий дом без меня ссутулится,  
Старый пес мой давно издох.  
На московских изогнутых улицах  
Умереть, знать, судил мне бог.

1922

Снова пьют здесь, дерутся и плачут  
Под гармоника жёлтую грусть.  
Проклинают свои неудачи,  
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,  
Заливаю глаза вином,  
Чтоб не видеть в лицо роковое,  
Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то всеми навек утрачено.  
Май мой синий! Июнь голубой!  
Не с того ль так чадит мертвячиной  
Над пропащею этой гульбой.

Ах, сегодня так весело россам,  
Самогонного спирта — река.  
Гармонист с провалившимся носом  
Им про Волгу поет и про Че-Ка.

Что-то злое во взорах безумных,  
Непокорное в громких речах.  
Жалко им тех дурашливых юных,  
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Жалко им, что Октябрь суровый  
Обманул их в своей пурге,  
И уж удалюю точится новой  
Крепко спрятанный нож в сапоге.

Где ж вы, те, что ушли далече?  
Ярко ль светят вам наши лучи?  
Гармонист спиртом сифилис лечит,  
Что в киргизских степях получил.

Нет! таких не подмять, не рассеять.  
Бесшабашность им гнилью дана.  
Ты, Рассея моя... Рас...сея...  
Азиатская сторона!

Сыпь, гармоника. Скука... Скука...  
Гармонист пальцы льет волной.  
Пей со мной, паршивая сука,  
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали—  
Невтерпеж.  
Что ж ты смотришь так синими брызгами?  
Иль в морду хошь?

В огород бы тебя на чучело  
Пугать ворон.  
До печенок меня замучила  
Со всех сторон.

Сыпь, гармоника, сыпь, моя частая.  
Пей, выдра, пей.  
Мне бы лучше вон ту, сисястую,—  
Она глупей.

Я средь женщин тебя не первую...  
Не мало вас,  
Но с такой вот, как ты, со стервою  
Лишь в первый раз.

Чем больше, тем звонче,  
То здесь, то там.  
Я с собой не покончу,  
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей  
Пора простыть.  
Дорогая, я плачу,  
Прости... прости...

Пой же, пой! На проклятой гитаре  
Пальцы пляшут твои в полукруг.  
Захлебнуться бы в этом угаре,  
Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья  
И с плечей ее льющийся шолк.  
Я искал в этой женщине счастья,  
А нечаянно гибель нашол.

Я не знал что любовь — зараза,  
Я не знал, что любовь — чума.  
Подошла и прищуренным глазом  
Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг. Навевай мне снова  
Нашу прежнюю буйную рань.  
Пусть целует она другова,  
Молодая, красивая дрльнь.

Ах, постой. Я ее не ругаю.  
Ах, постой. Я ее не клянчу.  
Дай тебе про себя я сыграю  
Под басовую эту струну.

Льется дней моих розовый купол.  
В сердце снов золотых сума.  
Много девушек я перещупал,  
Много женщин в углах прижимал.

Да! есть горькая правда земли,  
Подсмотрел я ребяческим оком:  
Лижут в очередь кобели  
Истекающую суку соком.

Так чего ж мне ее ревновать,  
Так чего ж мне болеть такому.  
Наша жизнь — простыня да кровать.  
Наша жизнь — поцелуй да в омут.

Пой же, пой! В роковом размахе  
Этих рук роковая беда.  
Только знаешь, пошли их... на-хер  
Не умру я, мой друг, никогда.

Эта улица мне знакома,  
И знаком этот низенький дом.  
Проводов голубая солома  
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,  
Годы буйных, безумных сил.  
Вспомнил я деревенское детство,  
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,  
Я с тщетой этой славы знаком.  
А сейчас, как глаза закрою,  
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,  
Тихо август прилег ко плетню.  
Держут липы в зеленых лапах  
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,  
В бревнах теплилась грозная морщь,  
Наша печь как-то дико и странно  
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,  
Как о ком-то погибшем, живом.  
Что он видел, верблюдов кирпичный,  
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,  
Сон другой и цветущей поры,  
Золотые пески Афганистана  
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю —  
Сам немалый прошел там путь,  
Только ближе к родимому краю  
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрёма,  
Все истлело в дыму голубом.  
Мир тебе — полевая солома,  
Мир тебе — деревянный дом!

Париж, 1923.

Годы молодые с забубенной славой,  
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли —  
Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.  
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну — и вот слушаю наощупь:  
Едем... кони... кони... снег... проезжаем рошу.

„Эй, ямщик, неси во-всю! Чай, рожден не слабым!  
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам“.

А ямщик в ответ одно: „По такой мятели  
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели“.

„Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!“  
Взял я кнут и нў стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как мятель, снег разносят в хлопья.  
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за чорт — вместо бойкой тройки.  
Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской  
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.  
Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: „Эх, ты, златоглавый,  
Огравил ты сам себя горькою отравой.“

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли —  
Синие твои глаза в кабаках промокли“.

## ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?  
Жив и я. Привет тебе, привет!  
Пусть струится над твоей избушкой  
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,  
Загрустила шибко обо мне,  
Что ты часто ходишь на дорогу  
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке  
Часто видится одно и то ж —  
Будто кто-то мне в кабацкой драке  
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.  
Это только тягостная бредь.  
Не такой уж горький я пропойца,  
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я попрежнему такой же нежный  
И мечтаю только лишь о том,  
Чтоб скорее от тоски мятежной  
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви  
По-весеннему наш белый сад.  
Только ты меня уж на рассвете  
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,  
Не волнуй того, что не сбылось,—  
Слишком раннюю утрату и усталость  
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!  
К старому возврата больше нет.  
Ты одна мне помощь и отрада,  
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,  
Не грусти так шибко обо мне.  
Не ходи так часто на дорогу  
В старомодном ветхом шушуне.

Я усталым таким еще не был.  
В эту серую морозь и слизь  
Мне приснилось рязанское небо  
И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило,  
Да и сам я любил не одну,—  
Не от этого ль темная сила  
Приучила меня к вину?

Бесконечные пьяные ночи  
И в разгуле тоска не впервь!  
Не с того ли глаза мне точит,  
Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,  
И не радует легкость побед,—  
Тех волос золотое сено  
Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,  
Когда цедит осенняя муть.  
Мне не жаль вас, прошедшие годы,—  
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить бесцельно  
И с улыбкою странной лица  
Полюбил я носить в легком теле  
Тихий свет и покой мертвеца...

И теперь даже стало не тяжело  
Ковылять из притона в притон,—  
Как в смирительную рубашку,  
Мы природу берем в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,  
Умирлется бешеный пыл.  
Но и все ж отношусь я с поклоном  
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под клёном,  
Где резвился на жёлтой траве—  
Шлю привет воробьям и воронам  
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:  
„Птицы милые, в синюю дрожь  
Передайте, что я отскандалил,—  
Пусть хоть ветер теперь начинает  
Под-микитки дубасить рожь“.

Этой грусти теперь не рассыпать  
Звонким смехом далеких лет.  
Отцвела моя белая липа,  
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,  
Много в сердце теснилось чувств —  
А теперь даже нежное слово  
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы  
Уж не так под луной хороши.  
Буераки... пеньки... косогоры  
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,  
Водянистая серая гладь.  
Это все мне родное и близкое,  
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избёнка,  
Плач овцы, и вдали на ветру  
Машет тощим хвостом лошадёнка,  
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,  
Это все, отчего на ней  
Пьют и плачут в одно с непогодиной,  
Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать  
Эту грусть смехом ранних лет.  
Отцвела моя белая липа,  
Отзвенел соловьиный рассвет.

Мне осталась одна забава:  
Пальцы в рот — и веселый свист.  
Прокатилась дурная слава,  
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!  
Много в жизни смешных потерь.  
Стыдно мне, что я в бога верил.  
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые далекие дали!  
Все сжигает житейская мреть.  
И похабничал я и скандалил  
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,  
Роковая на нем печать.  
Розу белую с черною жабой  
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись  
Эти помыслы розовых дней.  
Но коль черти в душе гнездились —  
Значит ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,  
Отправляясь с ней в край иной,  
Я хочу при последней минуте  
Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать,  
Положили меня в русской рубашке  
Под иконами умирать.

Заметался пожар голубой,  
Позабылись родимые дали.  
В первый раз я запел про любовь,  
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь — как запущенный сад,  
Был на женщин и зелие падкий.  
Разонравилось пить и плясать  
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,  
Видеть глаз златокарий омут,  
И чтоб, прошлое не любя,  
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан:  
Если б знала ты сердцем упорным,  
Как умеет любить хулиган,  
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки  
И стихи бы писать забросил,  
Только б тонкой касаться руки  
И волос твоих, цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой  
Хоть в свои, хоть в чужие дали...  
В первый раз я запел про любовь,  
В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

Ты такая ж простая, как все,  
Как сто тысяч других в России,  
Знаешь ты одинокий рассвет,  
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,  
Я по-глупому мысли занял.  
Твой иконный и строгий лик  
По часовням висел в рязнях.

Я на эти иконы плевал,  
Чтил я грубость и крик в повесе,  
А теперь вдруг растут слова  
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,  
Слишком многое телу надо.  
Что ж так имя твое звенит,  
Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал,  
И умею расслышать за пылом:  
С детства нравиться я понимал  
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег  
Для тебя, для нее и для этой.  
Невеселого счастья залог —  
Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,  
Словно в листья, в глаза косые...  
Ты такая ж простая, как все,  
Как сто тысяч других в России.

1923

Пуškai ты выпита другим,  
Но мне осталось, мне осталось  
Твоих волос стеклянный дым  
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне  
Дороже юности и лета.  
Ты стала нравиться вдвойне  
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,  
И потому на голос чванства  
Бестрепетно сказать могу,  
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной  
И непокорною отвагой.  
Уж сердце наполнилось иной  
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал  
Сентябрь багряной веткой ивы.  
Чтоб я готов был и встречал  
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь  
Без принужденья, без утраты.  
Иною кажется мне Русь,  
Иными — кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг  
И вижу — там ли, здесь ли, где-то ль —  
Что ты одна, сестра и друг,  
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,  
Воспитываясь в постоянстве,  
Пропеть о сумерках дорог  
И уходящем хулиганстве.

1923

Дорогая, сядем рядом,  
Поглядим в глаза друг другу.  
Я хочу под кротким взглядом  
Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осеннее,  
Эта прядь волос белесых —  
Все явилось, как спасенье  
Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,  
Где цветут луга и чащи.  
В городской и горькой славе  
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше  
Вспоминало сад и лето,  
Где под музыку лягушек  
Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...  
Клён и липы в окна комнат,  
Ветки лапами забросив,  
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.  
Месяц на простом погосте  
На крестах лучами метит,  
Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,  
Перейдем под эти кущи.  
Все волнистые дороги  
Только радость льют живущим.

Дорэгая, сядь же рядом,  
Поглядим в глаза друг другу.  
Я хочу под кротким взглядом  
Слушать чувственную вьюгу.

1923

Мне грустно на тебя смотреть,  
Какая боль, какая жалость!  
Знать, только ивовая медь  
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли  
Твое тепло и трепет тела.  
Как будто дождик моросит  
С души, немного омертвелой.

Ну, что ж! Я не боюсь его.  
Иная радость мне открылась.  
Ведь не осталось ничего,  
Как только жолтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег  
Для тихой жизни, для улыбок.  
Так мало пройдено дорог,  
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.  
Так было и так будет после.  
Как кладбище, усеян сад  
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы  
И отшумим, как гости сада...  
Коль нет цветов среди зимы,  
Так и грустить о них не надо.

1923

Ты прохладой меня не мучай  
И не спрашивай, сколько мне лет.  
Одержимый тяжелой падучей,  
Я душой стал, как желтый скелет.

Было время, когда из предместья  
Я мечтал по-мальчишески в дым,  
Что я буду богат и известен  
И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком,  
Был цилиндр, а теперь его нет.  
Лишь осталась одна манишка  
С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже, —  
От Москвы по парижскую рвань  
Мое имя наводит ужас,  
Как заборная громкая брань.

И любовь не забавное ль дело?  
Ты целуешь, а губы как жель.  
Знаю, чувство мое перезрело,  
А твое не сумеет расцвести.

Мне пока горевать еще рано,  
Ну, а если есть грусть — не беда!  
Золотей твоих кос по курганам  
Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,  
Чтоб под шум молодой лебеды  
Утонуть навсегда в неизвестность  
И мечтать по-мальчишески — в дым.

Но мечтать о другом, о новом,  
Непонятном земле и траве,  
Что не выразить сердцу словом  
И не знает назвать человек.

1923

Вечер черные брови насопил.  
Чьи-то кони стоят у двора.  
Не вчера ли я молодость пропил?  
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!  
Наша жизнь пронеслась без следа.  
Может, завтра больничная койка  
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому  
Я уйду, исцеленный навек,  
Слушать песни дождей и черемух,  
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,  
Что терзали меня, губя.  
Облик ласковый! Облик милый!  
Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,  
Но и с нею, с любимой, с другой,  
Расскажу про тебя, дорогую,  
Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая  
Наша жизнь, что былой не была...  
Голова ль ты моя удаля,  
До чего ж ты меня довела?

Больница на Полянке. 1923.

Мы теперь уходим понемногу  
В ту страну, где тишь и благодать.  
Может быть, и скоро мне в дорогу  
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!  
Ты, земля! И вы, равнин пески!  
Перед этим сонмом уходящих  
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете  
Все, что душу облакает в плоть.  
Мир осинам, что, раскинув ветви,  
Загляделись в розовую воду.

Много дум я в тишине продумал,  
Много песен про себя сложил  
И на этой на земле угрюмой  
Счастливл тем, что я дышал и жил.

Счастливл тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве  
И зверьё, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,  
Не звенит лебязьей шей рожь.  
Оттого пред сонмом уходящих  
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет  
Этих нив, златящихся во мгле.  
Оттого и дороги мне люди,  
Что живут со мною на земле.

1924

## ПУШКИНУ

Мечтая о могучем даре  
Того, кто русской стал судьбой,  
Стою я на Тверском бульваре,  
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,  
В легендах ставший как туман,  
О, Александр! Ты был повеса,  
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы  
Не затемнили образ твой,  
И в бронзе выкованной славы  
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,  
И говорю в ответ тебе —  
Я умер бы сейчас от счастья,  
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье, ✓  
Еще я долго буду петь...  
Чтоб и мое степное пенье  
Сумело бронзой прозвенеть.

Низкий дом с голубыми ставнями,  
Не забыть мне тебя никогда, —  
Слишком были такими недавними  
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится  
Наше поле, луга и лес,  
Принакрытые сереньким ситцем  
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею  
И пропасть не хотел бы в глуши,  
Но, наверно, навеки имею  
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей  
С их курлыканьем в тощие дали,  
Потому что в просторах полей  
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,  
Да ракитник, кривой и безлистый,  
Да разбойные слышали свисты,  
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,  
Все равно не могу научиться,  
И под этим дешевеньким ситцем  
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними  
Уж не юные веют года...  
Низкий дом с голубыми ставнями,  
Не забыть мне тебя никогда.

## СУКИН СЫН

Снова выплыли годы из мрака  
И шумят, как ромашковый луг.  
Мне припомнилась нынче собака,  
Что была моей юности друг.

Нынче юность моя отшумела,  
Как подгнивший под окнами клён,  
Но припомнил я девушку в белом,  
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,  
Но она мне как песня была,  
Потому что мои записки  
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,  
И мой почерк ей был незнаком,  
Но о чем-то подолгу мечтала  
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...  
Не дождался... уехал... И вот  
Через годы... известным поэтом  
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,  
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,  
С лаем ливисто ошалелым  
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!  
Снова выплыла боль души.  
С этой болью я будто моложе,  
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,  
Но не лай, ты! Не лай! Не лай!  
Хочешь, пес, я тебя поцелую  
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом  
И, как друга, введу тебя в дом...  
Да, мне нравилась девушка в белом,  
Но теперь я люблю в голубом.

Отговорила роща золотая  
Березовым, веселым языком,  
И журавли, печально пролетая,  
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —  
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.  
О всех ушедших грезит конопляник  
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,  
А журавлей относит ветер вдаль.  
Я полон дум о юности веселой,  
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растрченных напрасно,  
Не жаль души сиреневую цветъ.  
В саду горит костер рябины красной,  
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,  
От желтизны не пропадет трава.  
Как дерево роняет тихо листья,  
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,  
Сгребет их все в один ненужный ком...  
Скажите так... что роща золотая  
Отговорила милым языком.

Синий май. Заревая теплынь.  
Не прозвякнет кольцо у калитки.  
Липким запахом веет полынь.  
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна  
Вместе с рамами в тонкие шторы  
Вяжет взбалмошная луна  
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,  
Но чиста. Я с собой на досуге...  
В этот вечер вся жизнь мне мила,  
Как приятная память о друге.

Сад польщит, как пенный пожар,  
И луна, напрягая все силы,  
Хочет так, чтобы каждый дрожал  
От щемящего слова „милый“.

Только я в эту цветь, в эту гладь,  
Под тальянку веселого мая,  
Ничего не могу пожелать,  
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю — приди и явись,  
Все явись, в чем есть боль и отрада...  
Мир тебе, отшумевшая жизнь.  
Мир тебе, голубая прохлада.

## СОБАКЕ КАЧАЛОВА

Дай, Джим, на счастье лапу мне,  
Такую лапу не видал я сроду.  
Давай с тобой полаем при луне  
На тихую, бесшумную погоду.  
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.  
Пойми со мной хоть самое простое.  
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,  
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,  
И у него гостей бывает в доме много,  
И каждый, улыбаясь, норовит  
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,  
С такою милою доверчивой приятцей.  
И, никого ни капли не спросив,  
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей  
Так много всяких и невсяких было.  
Но та, что всех безмолвней и грустней,  
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.  
И без меня, в ее уставясь взгляд,  
Ты за меня лизни ей нежно руку  
За все, в чем был и не был виноват.

1925

Несказанное, синее, нежное,  
Тих мой край после бурь, после гроз,  
И душа моя, поле безбрежное,  
Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,  
Но того, что прошло, не кляню.  
Словно тройка коней оголтелая  
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.  
И пропали под дьявольский свист.  
А теперь вот в лесной обители  
Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?  
Все спокойно впивает грудь.  
Стой, душа, мы с тобой проехали  
Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,  
Что случилось, что случилось в стране,  
И простим, где нас горько обидели  
По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,  
Только жаль на тридцатом году —  
Слишком мало я в юности требовал,  
Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжолудясь,  
Так же гнется, как в поле трава...  
Эх, ты, молодость, буйная молодость,  
Золотая сорви-голова!

1925

## ПЕСНЯ

Есть одна хорошая песня у соловушки —  
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, росла — ножевая,  
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.  
Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-стало, сам не понимаю.  
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.  
В темноте мне кажется — обнимаю милую.

За окном гармоника и сиянье месяца,  
Только знаю — милая никогда не встретится.

Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,  
Как гитара старая и как песня новая.

С теми же улыбками, радостью и муками,  
Что певалось дедами, то поется внуками.

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —  
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?  
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,  
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая,  
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

1925

Заря окликает другую,  
Дымится овсяная гладь...  
Я вспомнил тебя, дорогую,  
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде, ходя на пригорок,  
Костыль свой сжимая в руке,  
Ты смотришь на лунный опорок,  
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,  
С тревогой и грустью большой,  
Что сын твой по отчому краю  
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста  
И, в камень уставясь в упор,  
Вздыхаешь так нежно и просто  
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,  
А сестры росли, как май,  
Ты все же глаза живые  
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!  
И время тебе подсмотреть,  
Что яблоне тоже больно  
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,  
Как вешняя звень поутру,  
И мне — чем сгнивать на ветках —  
Уж лучше сгореть на ветру.

Ну, целуй меня, целуй,  
Хоть до крови, хоть до боли.  
Не в ладу с холодной волей  
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка  
Средь веселых не для нас.  
Понимай, моя подружка,  
На земле живут лишь раз.

Оглядись спокойным взором  
Посмотри: во мгле сырой  
Месяц, словно желтый ворон,  
Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.  
Песню тлен пропел и мне.  
Видно, смерть мою почуял  
Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!  
Умирать — так умирать!  
До кончины губы милой  
Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дрёмах,  
Не стыдясь и не тая,  
В нежном шелесте черемух  
Раздавалось: „Я твоя“.

И чтоб свет над полной кружкой  
Легкой пеной не погас —  
Пей и пой, моя подружка:  
На земле живут лишь раз!

1925

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.  
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.  
И сердце под рукой теперь больней и ближе.  
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!  
Хладеет кровь, ослабевают силы.  
Но донесу, как счастье, до могилы  
И волны Каспия и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!  
В последний раз я друга обниму..  
Чтоб голова его, как роза золотая,  
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Май 1925 г.

Вижу сон. Дорога черная.  
Белый конь. Стопа упорная.  
И на этом на коне  
Едет милая ко мне.  
Едет, едет милая,  
Только нелюбимая.

Эх, береза русская!  
Путь-дорога узкая.  
Эту милую, как сон,  
Лишь для Той, в кого влюблен,  
Удержи ты ветками,  
Как руками меткими.

Светит месяц. Синь и сонь.  
Хорошо копытит конь.

Свет такой таинственный,  
Словно для Единственной —  
Той, в которой тот же свет  
И которой в мире нет.

Хулиган я, хулиган.  
От стихов дурак и пьян.  
Но и все ж за эту прить,  
Чтобы сердцем не остыть,  
За березовую Русь  
С нелюбимой помирюсь.

Июль 1925 г.

Спит ковыль. Равнина дорогая  
И свинцовой свежести полынь.  
Никакая родина другая  
Не волеет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,  
И, пожалуй, всякого спроси —  
Радуясь, свирепствуя и мучась,  
Хорошо живет на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,  
Плачут вербы, шепчут тополя.  
Но никто под окрик журавлиный  
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом  
И моей коснулась жизнь судьбы,  
Все равно остался я поэтом  
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,  
Вижу я, как сильного врага,  
Как чужая юность брызжет новью  
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,  
Я могу прочувственно пропеть:  
Дайте мне на родине любимой,  
Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925 г.

Не вернусь я в отчий дом,  
Вечно странствующий странник.  
Об ушедшем гад прудом  
Пусть тоскует конопляник.

Пусть неровные луга  
Обо мне поют крапивой,—  
Брызжет полночью дуга,  
Колокольчик говорливый.

Высоко стоит луна,  
Даже шапки не докинуть.  
Песне тайна не дана,  
Где ей жить и где погинуть.

Но на склоне наших лет  
В отчий дом ведут дороги.  
Повезут глухие дроги  
Полутруп, полускелет.

Ведь не даром с давних пор  
Поговорка есть в народе:  
Даже пес в хозяйский двор  
Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом —  
Жил и не жил бедный странник..  
• • • • •  
В синий вечер над прудом  
Прослезится конопляник.

Над окошком месяц. Под окошком ветер.  
Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий —  
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.  
Где ты, моя липа, липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку  
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.  
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Август 1925 г.

Каждый труд благослови, удача!  
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,  
Пахарю — чтоб плуг его и кляча  
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,  
Из кувшинок также можно пить —  
Там, где омут розовых туманов  
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой  
И, впиваясь в призрачную гладь,  
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,  
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели...  
Потому так и светлы всегда  
Те, что в жизни сердцем опростели  
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я — крестьянин,  
И теперь рассказываю сам,  
Соглядатай праздный, я ль не странен  
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,  
Словно кто-то к родине отвык,  
И с того, поднявшись над болотом,  
В душу плачут чибис и кулик.

Июль 1925 г.

Видно, так заведено навеки —  
К тридцати годам перебежась,  
Все сильней, прожженные калеки,  
С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,  
И земля милей мне с каждым днем.  
Оттого и сердцу стало сниться,  
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,  
И недаром в липовую цветь  
Вынул я кольцо у попугая —  
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.  
Сняв с руки, я дал его тебе,  
И теперь, когда грустит шарманка,  
Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,  
И на сердце изморозь и мгла:  
Может быть, кому-нибудь другому  
Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,  
Он тебя расспрашивает сам,  
Как смешного, глупого поэта  
Привела ты к чувственным стихам.

Ну, и что ж! пройдет и эта рана.  
Только горько видеть жизни край.  
В первый раз такого хулигана  
Обманул проклятый попугай.

Июль 1925 г.

Листья падают, листья падают.  
Стонет ветер,  
Протяжен и глух.  
Кто же сердце порадует?  
Кто его успокоит, мой друг?

С отягчонными веками  
Я смотрю и смотрю на луну.  
Вот опять петухи кукарекнули  
В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее.  
И летающих звезд благодать.  
Загадать бы какое желание,  
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,  
Проклиная удел свой и дом?  
Я хотел бы теперь хорошую  
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми  
Только мне —  
Не кому-нибудь —  
И словами и чувствами новыми  
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,  
Принимая счастливый удел,  
Я над песней не таял, не млея  
И с чужою веселою юностью  
О своей никогда не жалел.

Август 1925 г.

Гори, звезда моя, не падай,  
Роняй холодные лучи.  
Ведь за кладбищенской оградой  
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью  
И наполняешь тишь полей  
Такой рыдалистою дрожью  
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,  
Не то за рощей — за холмом  
Я снова чью-то песню слышу  
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,  
В березах убавляя сок,  
За всех, кого любил и бросил,  
Листовою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро  
Ни по моей, ни чьей вине  
Под низким траурным забором  
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,  
И сердце превратится в прах.  
Друзья поставят серый камень  
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,  
Я для себя сложил бы так:  
Любил он родину и землю,  
Как любит пьяница кабак.

Август 1925 г.

Жизнь — обман с чарующей тоскою,  
Оттого так и сильна она,  
Что своею грубою рукою  
Роковые пишет письма.

Я всегда, когда глаза закрою,  
Говорю: „Лишь сердце потревожь,  
Жизнь — обман, но и она порою  
Украшает радостями ложь.

„Обратись лицом к седому небу,  
По луне гадая о судьбе,  
Успокойся, смертный, и не требуй  
Правды той, что не нужна тебе“.

Хорошо в черемуховой вьюге  
Думать так, что эта жизнь — стезя.  
Пусть обманут легкие подруги,  
Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,  
Пусть острее бритвы злой язык, —  
Я живу давно на все готовым,  
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,  
Нет тепла от звездного огня.  
Те, кого любил я, отреклись,  
Кем я жил — забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,  
Я, смотря с улыбкой на зарю,  
На земле, мне близкой и любимой,  
Эту жизнь за все благодарю.

Август 1925 г.

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!  
Вспомнить, что ли, юность ту, что пролетела?  
Не шуми, осина, не пыли, дорога.  
Пусть несется песня к милой до порога.

Пусть она услышит, пусть она поплачет.  
Ей чужая юность ничего не значит.  
Ну, а если значит — проживет не мучась.  
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.  
Все равно не будет то, что было раньше.  
За былую силу, гордость и осанку  
Только и осталась песня под тальянку.

Сентябрь 1925 г.

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,  
Только, знаешь, в душе затаю  
Не в плохой, а в хорошей обиде —  
Повторяешь ты юность мою.

Ты — мое васильковое слово,  
Я навеки люблю тебя.  
Как живет теперь наша корова,  
Грусть соломенную тебе?

Запоешь ты, а мне любимо,  
Исцеляй меня детским сном.  
Отгорела ли наша рябина,  
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?  
Я навеки покинул село.  
Только знаю — багряной мятелью  
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе  
Вместо ласки и вместо слёз  
У ворот, как о сгибшей невесте,  
Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,  
Потому и достался не в срок,  
Как любовь, как печаль и отрада,  
Твой красивый рязанский платок.

Сентябрь 1925 г.

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,  
Нам с тобой их не счесть никогда.  
Сердцу снится душистый горошек,  
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду, иль спросонок,  
Только помню с далекого дня —  
На лежанке мурлыкал котенок,  
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,  
Но под бабкину песню вскок  
Он бросался, как юный тигренок,  
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабу,   
А еще через несколько лет   
Из кота того сделали шапку,   
А ее износил наш дед.

Сентябрь 1925 г.

Сестре Шуре

Ты запой мне ту песню, что прежде  
Напевала нам старая мать.  
Не жалея о сгибшей надежде,  
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю и мне знакомо,  
Потому и волнуй и тревожь —  
Будто я из родимого дома  
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,  
Вот с такою же песней, как ты,  
Лишь немного глаза прикрою —  
Вижу вновь дорogie черты.

Ты мне пой. Ведь моя отрада —  
Что вовек я любил не один  
И калитку осеннего сада  
И опавшие листья с рябин.

Ты мне пой, ну, а я припомню  
И не буду забывчиво хмур.  
Так приятно и так легко мне  
Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы  
Полюбил у березки стан  
И ее золотистые косы  
И холщевый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жостко—  
Мне за песнею и за вином  
Показалась ты той березкой,  
Что стоит под родимым окном.

Сентябрь 1925 г.

Сестре Шуре

В этом мире я только прохожий,  
Гы махни мне веселой рукой.  
У осеннего месяца тоже  
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,  
В первый раз от прохлады согрет,  
И опять и живу и надеюсь  
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,  
Посоленная белью песка,  
И измятая чья-то невинность  
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,  
Что любить не отдельно, не врозь —  
Нам одною любовью с тобою  
Эту родину привелось.

Сентябрь 1925 г.

## ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ

Улеглась моя бывая рана —  
Пьяный бред не гложет сердце мне.  
Синими цветами Тегерана  
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,  
Чтобы славилась пред русским чайхана,  
Угощает меня красным чаем  
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.  
Много роз цветет в твоём саду.  
Незадаром мне мигнули очи,  
Приоткинув чёрную чадру.

Мы в России девушек весенних  
На цепи не держим, как собак,  
Поцелуям учимся без денег,  
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенье стана,  
Что лицом похожа на зарю,  
Подарю я шаль из Хороссана  
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,  
Я тебе вовеки не солгу.  
За себя я нынче отвечаю,  
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,  
Все равно калитка есть в саду...  
Незадаром мне мигнули очи,  
Приоткинув черную чадру.

1924

Я спросил сегодня у менялы,  
Что дает за полтумана по рублю:  
Как сказать мне для прекрасной Лалы  
По-персидски нежное „люблю“?

Я спросил сегодня у менялы  
Легче ветра, тише Ванских струй,  
Как назвать мне для прекрасной Лалы  
Слово ласковое „поцелуй“?

И еще спросил я у менялы,  
В сердце робость глубже притая,  
Как сказать мне для прекрасной Лалы,  
Как сказать ей, что она „моя“?

И ответил мне меняла кратко:  
О любви в словах не говорят,  
О любви вздыхают лишь украдкой  
Да глаза как яхонты горят.

Поцелуй названья не имеет,  
Поцелуй не надпись на гробах.  
Красной розой поцелуи веют,  
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,  
С нею знают радость и беду.  
„Ты — моя“ сказать лишь могут руки  
Что срывали черную чадру.

1924

Шаганэ ты моя, Шаганэ!  
Потому, что я с севера, что ли,  
Я готов рассказать тебе поле,  
Про волнистую рожь при луне.  
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,  
Что луна там огромней в сто раз,  
Как бы ни был красив Шираз,  
Он не лучше рязанских раздолий.  
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле.  
Эти волосы взял я у ржи,  
Если хочешь, на палец вяжи —  
Я нисколько не чувствую боли.  
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне  
По кудрям ты моим догадайся.  
Дорогая, шути, улыбайся,  
Не буди только память во мне  
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!  
Там на севере девушка тоже,  
На тебя она страшно похожа,  
Может, думает обо мне...  
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

Ты сказала, что Саади  
Целовал лишь только в грудь.  
Подожди ты, бога-ради,  
Обучусь когда-нибудь.

Ты пропела: „За Ефратом  
Розы лучше смертных дев“.  
Если был бы я богатым,  
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти  
Ведь одна отрада мне —  
Чтобы не было на свете  
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,  
У меня заветов нет.  
Коль родился я поэтом,  
То целуюсь, как поэт.

19 декабря 1924 г.

Никогда я не был на Босфоре,  
Ты меня не спрашивай о нем.  
Я в твоих глазах увидел море,  
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,  
Не возил я шолк туда и хну.  
Наклонись своим красивым станом,  
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,  
Для тебя навеки дела нет,  
Что в далеком имени — Россия —  
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,  
При луне собачий слышу лай.  
Разве ты не хочешь, персиянка,  
Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки —  
Ты меня, незримая, звала.  
И меня твои лебязьи руки  
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,  
И хоть прошлой жизни не кляну.  
Расскажи мне что-нибудь такое  
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,  
Напой дыханьем свежих чар,  
Чтобы я о дальней северянке  
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —  
Я тебе придумаю о нем.  
Все равно — глаза твои, как море,  
Голубым колышутся огнем.

Свет шафранный вечернего края,  
Тихо розы бегут по полям.  
Спой мне песню, моя дорогая,  
Ту, которую пел Хаям.  
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,  
Кружит звезд мотыльковый рой.  
Мне не нравится, что персиане  
Держат женщин и дев под чадрой  
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,  
Закрывая телесную медь?  
Или, чтобы их больше любили,  
Не желают лицом загореть,  
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,  
Заучи эту заповедь вкратце.  
Ведь и так коротка наша жизнь,  
Мало счастьем дано любоваться.  
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке  
Осеняет твоя благодать.  
Потому и прекрасные щеки  
Перед миром грешно закрывать,  
Коль дала их природа - мать.

Тихо розы бегут по полям.  
Сердцу снится страна другая.  
Я спою тебе сам, дорогая,  
То, что сроду не пел Хаям...  
Тихо розы бегут по полям.

1924

Воздух прозрачный и синий,  
Выйду в цветочные чащи.  
Путник, в лазурь уходящий,  
Ты не дойдешь до пустыни.  
Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,  
Садом — в цветеньи диком.  
Ты не удержишься взглядом,  
Чтоб не припасть к гвоздикам.  
Лугом пройдешь, как садом.

Шопот ли, шорох, иль шелест —  
Нежность, как песни Саади.  
Вмиг отразится во взгляде  
Месяца желтая прелесть,  
Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся Пери,  
Тихий, как флейта Гассана.  
В крепких объятиях стана  
Нет ни тревог, ни потери,  
Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный  
Всех, кто в пути устали.  
Ветер благоуханный  
Пью я сухими устами,  
Ветер благоуханный.

1924

Золото холодное луны,  
Запах олеандра и левкоя.  
Хорошо бродить среди покоя  
Голубой и ласковой страны.

Далеко — далече там Багдад,  
Где жила и пела Шахразада.  
Но теперь ей ничего не надо.  
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли  
Поросли кладбищенской травой.  
Ты же, путник, мертвым не внемли,  
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:  
Губы к розам так и тянет, тянет.  
Помирись лишь в сердце со врагом —  
И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж влюбляться.  
В лунном золоте целуйся и гуляй,  
Если ж хочешь мертвым поклоняться,  
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —  
Так вторично скажет листьев медь.  
Тех, которым ничего не надо,  
Только можно в мире пожалеть.

1924

В Хороссане есть такие двери,  
Где обсыпан розами порог.  
Там живет задумчивая пери.  
В Хороссане есть такие двери,  
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,  
В волосах есть золото и медь.  
Голос пери нежный и красивый.  
У меня в руках довольно силы,  
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.  
И зачем? Кому мне песни петь?—  
Если стала неревнивой Шага,  
Коль дверей не смог я отпереть,  
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.  
Персия! Тебя ли покидаю?  
Навсегда ль с тобою расстанюсь  
Из любви к родимому мне краю  
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья.  
Пусть не смог я двери отпереть,  
Ты дала красивое страдание  
Про тебя на родине мне петь.  
До свиданья, пери, до свиданья.

1924

Голубая родина Фирдуси,  
Ты не можешь, памятью простыв,  
Позабыть о ласковом уресе  
И глазах, задумчиво простых  
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю,  
Розы как светильники горят  
И опять мне о далеком крае  
Свежестью упругой говорят.  
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз  
Ароматы, что хмельны как брага.  
И твой голос, дорогая Шага,  
В этот трудный расставанья час  
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?  
И в моей скитальческой судьбе  
Близкому и дальному мне люду  
Буду говорить я о тебе —  
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,  
Но на всякий случай твой угрюмый  
Оставляю песенку про Русь:  
Запевая, обо мне подумай,  
И тебе я в песне отзовусь...

Март 1925 г.

Быть поэтом — это значит то же,  
Если правды жизни не нарушить,  
Рубцевать себя по нежной коже,  
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздолье,  
Чтобы было для тебя известней.  
Соловей поет — ему не больно,  
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —  
Жалкая, смешная побрякушка.  
Миру нужно песенное слово  
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в Коране,  
Запрещая крепкие напитки,  
Потому поэт не перестанет  
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,  
А любимая с другим лежит на ложе,  
Влагою живительной хранимый,  
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,  
Будет вслух насвистывать до дома:  
„Ну, и что ж, помру себе бродягой,  
На земле и это нам знакомо“.

Август 1925 г.

Руки милой — пара лебедей —  
В золоте волос моих ныряют.  
Все на этом свете из людей  
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко  
И теперь пою про то же снова,  
Потому и дышит глубоко  
Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,  
Сердце станет глыбой золотою,  
Только тегеранская луна  
Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить —  
Догореть ли в ласках милой Шаги  
Иль под старость трепетно тужить  
О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:  
Что приятно уху, что — для глаза.  
Если перс слагает плохо песнь,  
Значит он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни  
Говорите так среди людей:  
Он бы пел нежнее и чудесней,  
Да сгубила пара лебедей.

Август 1925 г.

— Отчего луна так светит тускло  
На сады и стены Хороссана?  
Словно я хожу равниной русской  
Под шуршащим пологом тумана,—

Так спросил я, дорогая Лала,  
У молчащих ночью кипарисов,  
Но их рать ни слова не сказала,  
К небу гордо головы зависив.

— Отчего луна так светит грустно,—  
У цветов спросил я в тихой чаше,  
И цветы сказали: — Ты почувствуй  
По печали розы шелестящей.

Лепестками роза расплескалась,  
Лепестками тайно мне сказала:  
— Шаганэ твоя с другим ласкалась,  
Шаганэ другого целовала.

Говорила: „Русский не заметит...  
Сердце песнь, а песне жизнь и тело“.  
Оттого луна так тускло светит,  
Оттого печально побледнела.

Слишком много виделось измены,  
Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.  
. . . . .  
Но и все ж вовек благословенны  
На земле сиреневые ночи.

Август 1925 г.

Глупое сердце, не бейся!  
Все мы обмануты счастьем,  
Нищий лишь просит участия...  
Глупое сердце, не бейся!

Месяца жолтые чары  
Льют по каштанам в пролесь.  
Лале, склонясь на шальвары,  
Я под чадрую укроюсь.  
Глупое сердце, не бейся!

Все мы порою как дети,  
Часто смеемся и плачем:  
Выпали нам на свете  
Радости и неудачи.  
Глупое сердце, не бейся!

Многие видел я страны,  
Счастья искал повсюду.  
Только удел желанный  
Больше искать не буду.  
Глупое сердце, не бейся!

Жизнь не совсем обманула.  
Новой напьемся силой.  
Сердце, ты хоть бы заснуло  
Здесь, на коленях у милой.  
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит  
Рок, что течет лавиной,  
И на любовь ответит  
Песнею соловьиной.  
Глупое сердце, не бейся!

Август 1925 г.

Голубая да веселая страна.  
Честь моя за песню продана.  
Ветер с моря, тише дуй и вей —  
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —  
Эта песня в сердце отзовется.  
Ветер с моря, тише дуй и вей —  
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты ребенок — в этом спора нет,  
Да и я ведь разве не поэт?  
Ветер с моря, тише дуй и вей —  
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости  
Много роз бывает на пути,  
Много роз склоняется и гнется,  
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе — ты и я  
За такие милые края.  
Ветер с моря, тише дуй и вей —  
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна!  
Пусть вся жизнь моя за песню продана,  
Но за Гелию в тених ветвей  
Обнимает розу соловей.

1925

Эх, вы, сани! А кони, кони!  
Видно, чорт их на землю принес.  
В залихватском степном разгоне  
Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая  
Вдалеке, в стороне, в пустыре.  
Поддержись, моя жизнь удалая,  
Я еще не навек постарел.

Пой, ямщик, вперекор этой ночи,—  
Хочешь, сам я тебе подпою  
Про лукавые девичьи очи,  
Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломишь шапку,  
Да заложишь в оглобли коня,  
Да приляжешь на сена охапку,—  
Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка!  
А в полуночную тишину  
Разговорчивая тальянка  
Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.  
Конь издох, опустел наш двор.  
Потеряла тальянка голос,  
Разучившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла,  
Так приятны мне снег и мороз,  
Потому что над всем, что было,  
Колокольчик хохочет до слез.

1925

Снежная замять дробится и колется,  
Сверху озябшая светит луна.  
Снова я вижу родную околицу,  
Через мятель — огонек у окна.

Все мы бездомники, много ли нужно нам?—  
То, что далось мне, про то и пою.  
Вот я опять за родительским ужином,  
Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,  
Тихо, безмолвно, как будто без мук.  
Хочет за чайную чашку взяться,  
Чайная чашка скользит из рук.

Милая, добрая, старая, нежная,  
С думами грустными ты не дружись,  
Слушай — под эту гармонику снежную  
Я расскажу про свою тебе жизнь.

Много я видел и много я странствовал,  
Много любил я и много страдал —  
И оттого хулиганил и пьянствовал,  
Что лучше тебя никого не видал.

Вот и опять у лежанки я греюсь,  
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.  
Снова я ожил и снова надеюсь  
Так же, как в детстве, на лучший удел.

А за окном под мятельные всхлипы,  
В диком и шумном мятельном чаду,  
Кажется мне — осыпаются липы,  
Белые липы в нашем саду.

1925

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.  
Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,  
По равнине голой катится бубенчик.

Эх, вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!  
Где-то на поляне клён танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим — что такое?  
И станцуем вместе под тальянку трое.

Октябрь 1925 г.

Голубая кофта. Синие глаза.  
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: „Крутит ли мятель?  
Затопить бы печку, постелить постель“.

Я ответил милой: „Нынче с высоты  
Кто-то осыпает белые цветы,

Затопи ты печку, постели постель,  
У меня на сердце без тебя мятель“.

Октябрь 1925 г.

Снежная замять крутит бойко,  
По полю мчится чужая тройка.  
Мчится на тройке чужая младость.  
Где мое счастье? Где моя радость?  
Все укатилось под вихрем бойким  
Вот на такой же бешеной тройке.

Октябрь 1925 г.

Вечером синим, вечером лунным  
Был я когда-то красивым и юным.  
Неудержимо, неповторимо  
Все пролетело... далече... мимо...  
Сердце остыло, и выщвели очи...  
Синее счастье! Лунные ночи!

Октябрь 1925 г.

Не криви улыбку, руки беребя,  
Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо—  
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно—  
Просто захотелось заглянуть в окно.

Октябрь 1925 г.

Сочинитель бедный, это ты ли  
Сочиняешь песни о луне?  
Уж давно глаза мои остыли  
На любви, на картах и вине.

Ах, луна влезает через раму—  
Свет такой, хоть выколи глаза...  
Ставил я на пиковую даму,  
А сыграл бубнового туза.

Октябрь 1925 г.

Синий туман. Снеговое раздолье,  
Тонкий лимонный лунный свет.  
Сердцу приятно с тихою болью  
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца, как песок зыбучий.  
Вот при такой же луне без слов,  
Шапку из кошки на лоб нахлобучив,  
Тайно покинул я отчий кров.

Снова вернулся я в край родимый.  
Кто меня помнит? Кто позабыл?  
Грустно стою я, как странник гонимый —  
Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,  
Не по душе мне соболий мех.  
Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку,  
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,  
Как в этой жизни радей ни радей,—  
Вот почему так тянусь я к людям,  
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал  
И, улыбаясь, душой погас,—  
Эту избу на крыльце с собакой  
Словно я вижу в последний раз.

Октябрь 1925 г.

Свищет ветер, серебряный ветер,  
В шолоковом шелесте снежного шума.  
В первый раз я в себе заметил—  
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,  
Я не жалею и я не печален.  
Мне все равно эта жизнь полюбилась,  
Так полюбилась, как будто вначале.

Взглянет ли женщина с тихой улыбкой—  
Я уж взволнован. Какие плечи!  
Тройка проскачет дорогой зыбкой—  
Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи,  
Счастье людское землей любимо.  
Тот, кто хоть раз на земле заплачет,  
Значит удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,  
Все принимая, что есть на свете.  
Вот почему, обалдев над рощей  
Свищет ветер, серебряный ветер.

1925

Мелколесье. Степь и дали.  
Свет луны во все концы.  
Вот опять вдруг зарыдали  
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,  
Да любимая навек,  
По которой ездил много  
Всякий русский человек.

Эх, вы, сани! Что за сани!  
Звоны мерзлые осин.  
У меня отец — крестьянин,  
Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность  
И на то, что я поэт.  
Эту чахленькую местность  
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды  
Этот край и эту гладь,  
Тот почти березке каждой  
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,  
Если с венкой в стынь и звень  
Будет рядом веселиться  
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава.  
Знать, с того под этот вой  
Не одна лихая слава  
Пропадала трын-травой.

Ноябрь 1925 г.

Цветы мне говорят — прощай,  
Головками склоняясь ниже,  
Что я навеки не увижу  
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! ну, что ж!  
Я видел их и видел землю,  
И эту гробовую дрожь,  
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг  
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо,  
Я говорю на каждый миг,  
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,  
Печаль ушедшего не сгложет,  
Оставленной и дорогой  
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,  
Любимая, с другим любимым,  
Быть может, вспомнит обо мне,  
Как о цветке неповторимом.

Октябрь 1925 г.



## СОДЕРЖАНИЕ



От издательства . . . . .	V
Об отошедшем. А. К. Воронского . . . . .	XI
О себе. Автобиография С. Есенина . . . . .	XXXV
Вот уже вечер. Роса . . . . .	3
Там, где капустные грядки . . . . .	5
Поет зима — аукает . . . . .	6
Под венком лесной ромашки . . . . .	8
Темна ноченька, не спится . . . . .	10
Хороша была Танюша, краше не было в селе . . . . .	12
За горами, за желтыми долами . . . . .	14
Опять раскинулся узорно . . . . .	16
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха . . . . .	18
Подражанье песне . . . . .	19
Выткался на озере алый свет зари . . . . .	21
Матушка в купальницу по лесу ходила . . . . .	22
Зашум ли над затоном тростники . . . . .	24
Троицыно утро, утренний канон . . . . .	26
Туча кружево в роще связала . . . . .	27
Дымом половодье . . . . .	28
Сыплет черемуха снегом . . . . .	30

На плетнях висят баранки . . . . .	32
Калики . . . . .	34
Задымился вечер, дремлет кот на брусѣ . . . . .	36
Край любимый! Сердцу снятся . . . . .	37
Пойду в скуфье смиренным иноком . . . . .	39
Шел Господь пытать людей в любви . . . . .	41
Осень . . . . .	42
Не ветры осыплют пущи . . . . .	43
В хате . . . . .	45
По селу тропинкой кривенькой . . . . .	47
Гой, ты, Русь моя родная . . . . .	49
Я — пастух; мои палаты . . . . .	51
Сторона ль моя, сторонка . . . . .	53
Сохнет стаявшая глина . . . . .	55
Чую радуницу Божью . . . . .	57
По дороге идут богомолки . . . . .	59
Край ты мой заброшенный . . . . .	61
Заглушила засуха засевки . . . . .	63
Черная, потом пропахшая выть . . . . .	65
Топи до болота . . . . .	67
За темной прядью перелесиц . . . . .	69
В том краю, где желтая крапива . . . . .	71
Я снова здесь, в семье родной . . . . .	73
Не бродить, не мять в кустах багряных . . . . .	75
О красном вечере задумалась дорога . . . . .	77
Ночь и поле, и крик петухов . . . . .	79
О, край дождей и непогоды . . . . .	81
Голубень . . . . .	83
Колокольчик среброзвонный . . . . .	86
Запели тгсаные дроги . . . . .	87
Не напрасно дули ветры . . . . .	89

Корова . . . . .	91
Под красным вязом крыльцо и двор . . . . .	93
Табун . . . . .	95
Пропавший месяц . . . . .	97
О товарищах веселых . . . . .	99
Весна на радость не похожа . . . . .	101
Алый мрак в небесной черни . . . . .	103
Прощай, родная пуща . . . . .	105
Покраснела рябина . . . . .	107
Твой глас незримый, как дым в избе . . . . .	109
В лунном кружеве украдкой . . . . .	111
Там, где вечно дремлет тайна . . . . .	113
Тучи с ожерёба . . . . .	115
Лисица . . . . .	117
О, Русь взмахни крылами . . . . .	119
Гляну в поле, гляну в небо . . . . .	123
То не тучи бродят за овином . . . . .	124
Разбуди меня завтра рано . . . . .	126
Где ты, где ты, отчий дом . . . . .	128
О, мать божья . . . . .	130
О, пашни, пашни, пашни . . . . .	132
Нивы сжаты, рощи голы . . . . .	134
Зеленая причоска . . . . .	135
Я по первому снегу бреду . . . . .	137
Серебристая дорога . . . . .	139
Отвори мне, страж заоблачный . . . . .	140
О, верю, верю, счастье есть . . . . .	141
Песни, песни, о чем вы кричите? . . . . .	142
Вот оно, глупое счастье . . . . .	144
Проплясал, проплакал дождь весенний . . . . .	146
О, муза, друг мой гибкий . . . . .	148

Я последний поэт деревни . . . . .	150
Душа грустит о небесах . . . . .	152
Устал я жить в родном краю . . . . .	154
О, боже, боже, эта глубь . . . . .	156
Я покинул родимый дом . . . . .	158
Хорошо под осеннюю свежесть . . . . .	160
Песнь о собаке . . . . .	162
Закружилась листва золотая . . . . .	164
Теперь любовь моя не та . . . . .	166
По-осеннему кычет сова . . . . .	168
Песнь о хлебе . . . . .	170
Хулиган . . . . .	172
Все живое особой мечтой . . . . .	175
Мир таинственный, мир мой древний . . . . .	177
Сторона ль ты моя, сторона . . . . .	180
Не ругайтесь! Такое дело . . . . .	182
— Не жалею, не зову, не плачу . . . . .	184
Я обманывать себя не стану . . . . .	186
Да. Теперь решено. Без возврата . . . . .	188
Снова пьют здесь, дерутся и плачут . . . . .	190
Сыпь гармоника. Скука... скука . . . . .	192
Пой же, пой! На проклятой гитаре . . . . .	194
Эта улица мне знакома . . . . .	197
Годы молодые! С забубенной славой . . . . .	200
— Письмо матери . . . . .	202
Я усталым таким еще не был . . . . .	205
Этой грусти теперь не рассыпать . . . . .	208
Мне осталась одна забава . . . . .	210
Заметался пожар голубой . . . . .	212
Ты такая ж простая, как все . . . . .	214
Пускай ты выпита другим . . . . .	216

Дорогая, сядем рядом . . . . .	218
Мне грустно на тебя смотреть . . . . .	220
Ты прохладой меня не мучай . . . . .	222
Вечер черные брови насопил . . . . .	224
Мы теперь уходим понемногу . . . . .	226
Пушкину . . . . .	228
Низкий дом с голубыми ставнями . . . . .	230
Сукин сын . . . . .	232
Отговорила роща золотая . . . . .	235
Синий май. Заревая теплынь . . . . .	237
Собаке Качалова . . . . .	239
Несказанное, синее, нежное . . . . .	241
Песня . . . . .	243
Заря окликает другую . . . . .	245
Ну, целуй меня, целуй . . . . .	247
Прощай, Баку. Тебя я не увижу . . . . .	249
Вижу сон. Дорога черная . . . . .	250
Спит ковыль. Равнина дорогая . . . . .	252
Не вернусь я в отчий дом . . . . .	254
Над окошком месяц. Под окошком ветер . . . . .	256
Каждый труд благослови, удача . . . . .	257
Видно, так заведено навеки . . . . .	259
Листья падают, листья падают . . . . .	261
Гори, звезда моя, не падай . . . . .	263
Жизнь — обман с чарующей тоскою . . . . .	265
Сыпь, тальянка, звонко сыпь, тальянка, смело . . . . .	267
Я красивых таких не видел . . . . .	268
Ах, как много на свете кошек . . . . .	270
Ты запой мне ту песню, что прежде . . . . .	272
В этом мире я только прохожий . . . . .	274
Персидские мотивы . . . . .	276

Я спросил сегодня у менялы . . . . .	278
Шаганэ ты моя, Шаганэ . . . . .	280
Ты сказала, что Саади . . . . .	282
Никогда я не был на Босфоре . . . . .	284
Свет шафранный вечернего края . . . . .	286
Воздух прозрачный и синий . . . . .	288
Золото холодное луны . . . . .	290
В Хоросане есть такие двери . . . . .	292
Голубая родина Фирдуси . . . . .	294
Быть поэтом — это значит . . . . .	296
Руки милой — пара лебедей . . . . .	293
Отчего луна так светит тускло . . . . .	300
Глупое сердце, не бойся . . . . .	302
Голубая да веселая страна . . . . .	304
Эх, вы сани, А кони, кони . . . . .	306
Снежная замять дробится и колется . . . . .	308
Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся . . . . .	310
Голубая кофта. Синие глаза . . . . .	311
Снежная замять крутит бойко . . . . .	312
Вечером синим, вечером лунным . . . . .	313
Не криви улыбку, руки теребя . . . . .	314
Сочинитель бедный, это ты ли . . . . .	315
Синий туман. Снеговое раздолье . . . . .	316
Свищет ветер, серебряный ветер . . . . .	318
Мелколесье. Степь и дали . . . . .	320
Цветы мне говорят — прощай . . . . .	322





1926

2 p. 50 k.